

## АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ДОМБРОВСКИЙ

### ПАДЕНИЕ К ПОДНОЖЬЮ ПИРАМИД

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Если подняться на маяк и смотреть в сторону, противоположную морю, на восток, можно увидеть на горизонте искривляющую его цепочку древних курганов, разграбленных кладоискателями в прежние века. Между курганами и морем каменистая степь, пустыня, изрезанная глубокими балками, царство полыни, верблюжьей колючки, сусликов и змей. По склонам балок - выходы белорыжих пластов песчаника, серые каменистые осыпи, ржавые промоины. Между балками петляет единственная дорога, ведущая к маяку. Это - восток. Оттуда, из-за курганов, поднимается солнце, чтобы через несколько часов опуститься за морской горизонт. Тогда зажигается маяк...

Маяк стоит на высоком мысу, круто обрывающемся к морю, мыс нависает над морем щербатыми козырьками и растрескавшимися скальными глыбами, между которыми, если смотреть с моря, с лодки зияют ниши и глубокие гроты, полусасыпанные щебенкой. Когда свирепствует зюйд-вест, мыс гудит, как орган, и трудно бывает понять, отчего он вибрирует: от ударов ли волн или от низкого утробного рёва, исторгаемого гротами. К северу и к югу от маяка берег понижается, там можно спуститься к воде. Самый ближний спуск - на севере, в километре от мыса. Его видно отсюда, с башни. Виден, правда, не сам спуск, а лодочный сарай, нелепое, но прочное сооружение из дикого камня-плиточника, в сарае за железной дверью с винтовым замком хранится четырехвесельная шлюпка. Лет шесть или семь назад ее, сорванную штормом с какого-то судна, загнало в лиман, в мелководную бухту, и прибило к берегу. Прежний смотритель маяка внес шлюпку в инвентарный список своего хозяйства и построил для нее у ближайшего спуска сарай. Он же дал ей имя "Эллинида". Некоторые полагали, что прежний смотритель назвал им шлюпку в честь какой-то женщины, своей зазнобы, хотя на самом деле - это может подтвердить всякий, мало-мальски знающий греческий язык, - "Эллинида" означает "Гречанка". Конечно, бывший смотритель выбрал его неслучайно: лиман, в котором была найдена шлюпка, называется также Греческой Гаванью, поскольку на его восточном берегу несколько веков назад стоял греческий город, ныне - зона археологических раскопок, грустное и бессмысленное зрелище.

Когда-то жизнь бурлила и здесь, на мысе. Еще в прошлом веке его глубокие гроты служили пристанищем для пиратов и контрабандистов: остались вбитые в скалы ржавые железные крюки, причальные кольца, каменные, обрушившиеся во многих местах ступени узкой лестницы, по которой можно было спуститься к широкой плите у входа в Главный Грот, способный вместить в себя с десяток фелюг. Метрах в сорока от кромки обрыва сохранился колодец, пробитый вертикально сквозь стометровую скальную толщу над самой широкой частью Главного Грота. Говорят, что через этот колодец с помощью лебедки поднимали вверх с затаившихся в гроте фелюг награбленное добро и контрабандные товары. Теперь этот колодец во избежание несчастного случая заперт железной решеткой и обложен камнями.

Если смотреть с маяка на юг, можно обнаружить некоторую симметрию северной части - там тоже стоит строение из камня-плитняка, но уже без крыши, с проломами вместо окон и дверей. Это бывшая сакля, в которой никто не жил: лет двенадцать назад ее наскоро соорудили киношники для съемок какого-то фильма.

Разрушили саклю отдыхающие "дикари", чьи таборы пестреют каждое лето в южной долине.

На западе - море. Оно одно приковывает взгляд человека, поднявшегося на маяк или стоящего у кромки обрыва. Потому что возникает не всегда осознаваемое ощущение полета. Нужно лишь не касаться взглядом земли, открыть лицо ветру и не бояться отраженного света, бьющего в глаза.

Этот мыс и стал последним прибежищем Петра Петровича Лукашевского, старого морского волка, капитана дальнего плавания, избородившего на своих судах не одно море на земном шарике. Да, была одна неприятность - подвели друзья, из-за которой его списали на берег и в качестве милости или утешения отдали ему во владение этот маяк, по ночам светящий из этой глухомани редким нефтеналивным танкерам да рыбацким сейнерам. Петр Петрович мог бы, конечно, еще побороться и доказать кому следовало, что с ним поступили несправедливо, но тут подкатила личная беда - погибли в авиакатастрофе жена Анна и дочь Мария. Горе раздавило его, обессилило, лопнул самый главный леер, связывавший его с жизнью. И одиночество стало желанным, а борьба - бессмысленной. Впрочем, он знал, что мог бы подняться - тогда ему было только пятьдесят два, он был красив собой, образован, умен, воспитан. Но не захотел. Роздал имущество, бросил квартиру в городе и уехал на маяк, загрузив свою машину книгами, холстами и красками - на чтение книг и занятие живописью прежде у него никогда не хватало времени.

С той поры прошло уже пять лет. О первых днях и даже месяцах своей жизни на маяке Петр Петрович помнил плохо, почти ничего. Просто однажды он вдруг с удивлением обнаружил, что находится здесь, - и как будто прозрел, будто после долгого беспмятства или сна к нему возвратилось сознание, словно он отсутствовал, и вот - снова есть, существует, но уже в иной точке пространства, в ином времени, и сам те перь - иной. Это чувство мгновенного воскрешения было таким неожиданным и новым, что Петру Петровичу понадобилось какое-то время, чтобы свыкнуться с окружающей обстановкой, поверить в ее реальность и принять, как должное. Чувство было странным, но не пугающим. Напротив, Петр Петрович испытал даже облегчение, тихую радость: опять ощутил себя, увидел свет, землю, море. Ему понравилась его новая квартира - две комнаты в верхнем, втором, этаже - с окнами на все четыре стороны и белая, изящная, как ионическая колонна, башня маяка. Понравился просторный двор, обнесенный высокой каменной оградой, по которой прогуливались куры и цесарки предмет каждодневных забот Александрины, жены техника Полудина. Александрину и Полудина Петр Петрович тогда тоже увидел словно впервые, взгляделся в их молодые лица, отметил про себя, что оба они довольно симпатичны, и с некоторым смущением вспомнил, с какой неохотой почему бы это? - взял их на маяк: должно быть, противился вторжению в свое одиночество. В дни его прозрения, или воскрешения, они тоже поняли, как вдруг изменилось отношение к ним, тихо ликовали и были внимательны к нему, как никогда прежде: пригласили в свой дом - включенный в ограду, и обращенный дверью и окнами на дом Петра Петровича, выставили богатое угощение, пели под гитару и все благодарили, благодарили его за то, что он положил конец их бездомной скитальческой жизни. Полудин, воспользовавшись минуткой, когда Александрина вышла из-за стола, сказал Петру Петровичу, что теперь они заведут детей, что первого ждут уже в начале осени. И осенью у Полудиных родился сын Павлуша.

Воспрянув, Петр Петрович потянулся к книгам, а потом и холст натянул на подрамник, хотя не знал еще, какие краски лягут на него. И вскоре - это стало главным его занятием - засел за лоции, чтобы разработать маршрут кругосветного плавания, которое вознамерился осуществить в одиночку на собственной яхте.

Такую вот он поставил тогда перед собою цель. Последнюю. Положил себе на подготовку шесть лет - срок вполне достаточный не только для того, чтобы построить и оснастить яхту, но и чтобы никто не подумал, будто он бросил маяк, не вынося безвестности и одиночества. В год отплытия ему стукнет шестьдесят и, стало быть, по всем законам он получит право на свободную жизнь. Яхту он заложил на стапеле флотской судоремонтной базы, расположенной в двадцати милях к югу от маяка, найдя там нужных мастеров. На оплату их он не скупился - у него были денежные сбережения, - и яхта обещала быть классной. Петр Петрович давно решил, что назовет ее "Анна-Мария" - в память о жене и дочери. Теперь он раз в два-три месяца бывал на базе. Отправлялся туда либо на своей старенькой "Ладе", если на море был штиль, либо на "Эллиниде", на шлюпке, переоборудовав ее под парус. Хождение под парусом входило в комплекс его упорных тренировок, поэтому "Эллиниду" он всегда предпочитал "Ладе", если только позволяла погода. "Анна-Мария" строилась как парусная яхта.

Хлопоты, связанные со строительством яхты, изучение лоций, спортивные тренировки составляли лишь три стороны того четырехугольника, который как бы описывал программу Петра Петровича. Тут был полный расчет, тут дело двигалось по плану. Последняя же сторона четырехугольника прочерчивалась плохо: ложилась пунктиром, ломалась, свертывалась в спираль. Реально же - представляла собой папку, распухшую от бумаг: прошений, заявлений, объяснений, напоминаний, справок, заключений, запросов, ответов, анкет и прочее, и прочее, с помощью которых Петр Петрович намеревался заполучить главную, единственную и желанную бумагу, разрешающую ему отправиться в кругосветное плавание. И когда кто-либо спрашивал Лукашевского, как продвигаются его дела в этом направлении, он отвечал, что надежда не покидает его, но все время норовит улизнуть. А спрашивающие были. Главным образом, среди местных, районных начальников различного ранга, беспокоивших Петра Петровича своими неожиданными, хотя и нечастыми набегами. Они, как правило, привозили к нему своих заезжих гостей, чтобы показать им маяк и немного кутнуть вдалеке от людских глаз, воспользовавшись его радушием и, разумеется, квартирой с прекрасным видом на море. При этом они неизменно отмечали талант Петра Петровича вести застольную беседу, точнее, интеллигентную застольную беседу, и столь же несомненный талант Александрины, умевшей быстро и вкусно приготовить из привозимых ими продуктов угощения. Петр Петрович относился к этим набегам как к неизбежному и традиционному злу и даже научился извлекать из них некоторую пользу: иные из заезжавших оказывали затем помощь в его хлопотах. А с председателем райисполкома Сергеем Яковлевичем Яковлевым он даже подружился. Яковлев, как и Петр Петрович, был вдовцом, книголюбом и философом. И возрастом они не очень разнились: Петр Петрович был лишь на два года моложе Яковлева. Объединяла их также любовь к морю. Яковлев не скрывал, что завидует Петру Петровичу и что, сложись его судьба иначе, плюнул бы на все и тоже отправился бы в кругосветное плавание, например, с Петром Петровичем, когда б тот согласился взять его с собой. Мешали ему две вещи: прочные служебные цепи и болезнь - у него был радикулит. Естественно, что он стал горячим помощником Петра Петровича во всех его морских делах.

Те, кто знал Лукашевского, иногда рассказывали о нем легенды. Трудно сказать, как они возникали. Возможно, что источником для них послужили какие-то действительные факты из жизни Петра Петровича, но достоверно одно: сам Петр Петрович не был автором этих легенд, всегда опровергал их, смеясь или негодуя, что, впрочем, никак не влияло на их существование и, может быть, даже напротив - усиливало их жизнестойкость. Вот, например, одна из таких легенд: однажды техник Полудин сорвался в штормовую погоду с башни маяка и

наверняка разбился бы, если бы вдруг не завис в воздухе, остановленный взглядом Лукашевского, и не опустился бы затем на скирду сена, стоявшую в тридцати метрах от башни. На вопрос о том, было ли такое, даже Полудин отвечал одним словом: "Бред!", а Петр Петрович неизменно пускался в рассуждения о невозможности телекинеза. Вот еще одна легенда: будто Петр Петрович как-то, на спор с одним из гостей, спустился ночью с завязанными платком глазами по отвесной стене обрыва к морю и потом точно так же поднялся по ней за считанные минуты. Были также легенды с чертовщиной: однажды по причине аварии погас маячный огонь, но купол маяка продолжал всю ночь светиться ярким голубым огнем; некоторые из гостей видели, как по воле Петра Петровича на чистом холсте возникали самые удивительные картины, хотя он не прикасался к холсту, и как его "Эллинида" мчалась по волнам против ветра без паруса и мотора.

Петра Петровича эти рассказы огорчали, хотя он видел в них некоторую народную традицию - слагать небылицы о мельниках, кузнецах и, вероятно, о зрителях маяков. Хуже нелепых разговоров было то, что порой у него возникало желание проверить, не обладает ли он и на самом деле теми чудесными способностями, которыми наделяли его досужие фантазеры. И хотя он не устраивал себе таких проверок, сама мысль о них казалась ему признаком его душевного неблагополучия. Впрочем, повседневные занятия и заботы избавляли его от этой тревоги. Но однажды...

Однажды, сидя перед чистым холстом, прислоненным к стене, он увидел на нем пирамиду Хеопса. Какое-то время, еще не осознавая, что перед ним не реальная картина, а лишь видение, он всматривался в него, щурил глаза, ощущая, как слепит его солнечный свет, отраженный от двух, повернутых к нему граней пирамиды, и мешает ему рассмотреть тонущий в дымке за гранью плато Каир, как легко становится глазам, когда он опускает их, погружая в тень, отбрасываемую гигантским конусом пирамиды Хефрена и упирающуюся вершиной в подножие пирамиды Хеопса. Пирамиду Хефрена Петр Петрович при этом не видел, так как она была у него за спиной. Где-то там же было солнце. Тень пирамиды Хефрена накрывала как бы самого Петра Петровича и каменистую пустыню - пространство между двумя пирамидами. В тени, ближе к пирамиде Хеопса, маячил на верблюде одинокий всадник.

За пылающими гранями пирамиды Хеопса и над ней было голубое, небо, чуть подернутое белесой окалиной. У каменных глыб ее нижнего уступа Петр Петрович различил крохотные вертикальные черточки - людей. В лицо пахло теплом, запахом нагретого солнцем известняка. Все еще не осознавая происходящего, Петр Петрович оглянулся, будто хотел проверить, далеко ли от него пирамида Хефрена, и в тот же миг понял, что никакой пирамиды Хефрена за ним нет и быть не может, что он находится в комнате, сидит на стуле, а за спиной у него книжные полки и дверь. Впрочем, тут же возникла мысль о проекторе и слайде. Проектор действительно стоял на книжной полке, но Петр Петрович его не включал... Да и слайда такого - с видом на пирамиду Хеопса из тени пирамиды Хефрена - в коллекции Петра Петровича, - он это хорошо помнил - никогда не было, хотя в Гизе он бывал и видел все три пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Помнится, они произвели на него тогда сильное, но удручающее впечатление.

Петр Петрович перевел взгляд на холст и невольно задержал дыхание, испытав одно из тех странных чувств, которым нет названия. Видение не исчезло. Оно медленно таяло, выцветало и разрушалось. Когда Петр Петрович встал и подошел к холсту, на нем уже ничего не было. Петр Петрович присел перед холстом и провел по нему ладонью. Грунтовка была сухой и прочной, как стенная

штукатурка, без малейших следов краски или угля. Под ударами пальцев хорошо натянутый холст издавал глухой звук.

Но почему, черт возьми, пирамида Хеопса?! Лукашевский за многие годы своего капитанства повидал и другие чудеса света. И о пирамиде Хеопса вспоминал, кажется реже всего. Во всяком случае, в последние дни - ни разу. И уж совсем не думал о ней, когда сидел перед холстом, потому что давно уже поставил перед собою задачу нарисовать речку Стогу и высокий берег над ней, на котором некогда красовалось село Застожье, его родина. По тем милым сердцу местам и бродило тогда его воображение. И вдруг - Гиза, пирамида Хеопса, тень пирамиды Хефрена, всадник на верблюде... Правда, можно найти какие-то подсознательные связи между Застожьем и пирамидой Хеопса. Застожья давно нет, на его месте огромный каменный карьер, а пирамида Хеопса, которая старше Застожья на сорок столетий, стоит! Вместе с Застожьем исчезло с лица земли и сельское кладбище, на котором были похоронены Петр Афанасьевич и Елизавета Григорьевна Лукашевские, а пирамида фараона Хеопса стоит! Из каменного карьера в Застожье вынута, пожалуй, уже столько известняка, что из него можно было бы построить пирамиду Хеопса. Что еще? Пирамида Хеопса - это символ памяти, а карьер в Застожье - символ беспамятства. Может быть, таким был мост между мыслями о Застожье и видением пирамиды Хеопса? Или некогда, находясь в Гизе и глядя на пирамиду Хеопса из тени пирамиды Хефрена, он вспоминал о родном исчезнувшем Застожье? Кто знает. Но какое стойкое и яркое видение, черт бы его побрал! Казалось даже, что оно было припечатано к холсту. Позже Петр Петрович подумал, сам того не желая, что когда б он не так быстро обернулся, изображение пирамиды Хеопса, возможно, навсегда осталось бы на холсте. Не надо было суетиться и пугаться...

А ночью картина ему приснилась. Он знал, что картина снится ему, что она точно та же, что привиделась днем, но теперь это его несколько не беспокоило, все казалось само собою разумеющимся. Новым было только то, что холст теперь был в раме и имел название, выгравированное на бронзовой пластинке: "ВИД НА ПИРАМИДУ ХЕО ИЗ ТЕНИ ПИРАМИДЫ ХЕФ". Почему имена фараонов оказались усеченными, Петр Петрович во сне не поинтересовался, а когда проснулся, ответа на этот вопрос уже не было, потому что ответ остался там, во сне. Петр Петрович знал, что имена Хеопса и Хефрена звучат иначе - Хуфу и Хафр, но это ничего не объясняло. Впрочем, увиденное во сне название картины Петру Петровичу понравилось: оно читалось в торжественном ритме. Так понравилось, что он выгравировал его на раздобытой у техника Полудина латунной пластинке.

Через несколько дней, после очередного посещения флотской базы, где строилась "Анна-Мария", Петр Петрович решил запечатлеть гизехское видение масляными красками на полотне, чтобы таким образом избавиться от него, выплеснуть на холст. Само желание рисовать стало почти навязчивым.

Лукашевский подготовился к работе основательно: вырезал из гладкой фанеры палитру, соорудил станок, распаковал и разложил на столе краски, промыл и промял старые кисти, заточил угольки, выбрал место для станка и холста словом, сделал все, что надо. И подступился к холсту.

Сначала - угольный абрис, контуры видения: два соприкоснувшихся боковыми ребрами треугольника пирамиды Хеопса и легший к ее основанию конус тени пирамиды Хефрена, в центре которого - всадник на верблюде. За тенью - полоска шоссе, за нею, правее пирамиды - нагромождение камней, развалины заупокойных храмов. И это было все, что потом предстояло изобразить в цвете.

Рисунок углем Лукашевский сделал быстро, даже с некоторой лихостью, хотя волновался при этом, но, может быть, по причине этого волнения появились в его работе скорость и лихость: его донимало предчувствие, что с ним вот-вот что-то случится и непременно странное. Но предчувствие обмануло Лукашевского - ничего странного не произошло. Закончив абрис, он сделал глоток холодного кофе, легко заштриховал некоторые места, чтобы придать рисунку объем, бросил на стол уголек и отошел к окну - теперь надо было поглядеть на холст издали. Все было так, как надо: компоновка удалась - Лукашевский мысленно похвалил себя за это - и ощущение того, что он с первой попытки достиг желаемого, что рисунок точно, совпав во всех деталях, лег на однажды возникший образ, разлилось в его душе тихой радостью. Он испытал долгожданное облегчение, глубоко и свободно вздохнул и сел на подоконник, чувствуя приятную слабость. Было осеннее теплое утро, тихое, безоблачное. Закопанный воздух искрился под солнцем, как бывает только у моря. И пахло морем, его чистым дыханием. И к свету солнца прибавлялся свет огромного успокоенного штилем пространства...

Это было давно, его гизехское сидение, когда "Саратов", покоящийся теперь на корабельном кладбище, стоял однажды под долгой погрузкой в Порт-Саиде. Тогда ему предоставилась возможность съездить в Каир и прожить там несколько дней. Отель, в котором он остановился находился в получасе ходьбы от Большого Сфинкса, а там было рукой подать до пирамид. Лукашевский проделал этот путь три или четыре раза один: что-то тянуло его туда и беспокоило - то ли он не мог понять, то ли вспомнить, то ли додумать и дочувствовать до конца. Эта незавершенность внутренней работы его тревожила и угнетала, как некая утрата способности, которой он некогда обладал, как душевная заторможенность или бедность, в чем он сам был виноват перед собою. Чувство вины было горьким, обезоруживающим. Пугали мысли о собственной случайности, непрочности, обреченности, о бесцельности и никчемности присутствия в этом мире. Вот подпирающие небеса пирамиды, вот раскаленная каменистая пустыня - как они молчат, ах, как они молчат! - и ты, маленький комочек, катящийся по камням под беспощадным светом и ветром вечности...

Потом он понял: именно она, Вечность, ощутимо присутствовала там и обжигала своим величественным равнодушием. Говорят, что зодчий Хемиун вписал пирамиду Хеопса в орбиту Космоса и сориентировал усыпальницу фараона по лучу звезды Тубан, альфы Дракона, которая две с половиной тысячи лет назад и во времена строительства пирамиды была полюсом мира. Потом она отвернулась от усыпальницы Хеопса, уступив свое место альфе Малой Медведицы, но лишь с тем, чтобы через двадцать тысяч лет вновь заглянуть в пустую гробницу. Как медленно поворачивает свои глаза Вечность. В один из гизехских вечеров Лукашевский нашел на небе звезду Тубан между Мицаром и Ковшом Малой Медведицы...

В один из дней его гизехского сидения подул ветер. Пустыня и пирамиды курились рыжеватой горячей пылью. На плато было так малоллюдно - пыль жгла, забивала легкие и глаза - что порой в поле зрения Лукашевского не оказывалось ни души. И тогда возникало чувство полного одиночества, трагической заброшенности. Ничем человеческим не веяло от пирамид. Напротив, казалось, что от них исходит мрачная угроза неземных сил, тяжелая, всеподавляющая угрюмость, враждебность жизни, злобное непризнание ее. Помнится, Лукашевскому пришла тогда в голову мысль, что все это - пирамиды, пустыня, сфинкс, запыленное небо и вертящееся в пылевых вихрях солнце - принадлежность другого мира. И хуже того: что мир земной вдруг стал другим, отвергающим человека. Было обидно и скучно, как на смертном одре...

Потом он гулял по каирскому базару, забитому людьми, тележками, осликами, в шуме и гаме, в дело вой толчее, пировал с друзьями в "Башне счастья", танцевал с красивыми женщинами, но пережитое среди пирамид одиночество то и дело окликало его. И тогда он то мысленно, то шепотом произносил Бог весть откуда взявшиеся слова: "Не смотрите мимо звезды Тубан". Здравый смысл подсказывал: ничего необычного в этих словах нет, и вообще - в них мало смысла. И в то же время в них заключалось какое-то предупреждение, суть которого была темна и тревожна. Станным было то, что эти слова вызывали беспокойство также и в других людях, в чем Лукашевский не раз убеждался, произнося их в присутствии своих знакомых: люди сначала удивлялись, недоумевали, а потом приставали к нему с вопросом, что он такое сказал и для чего.

Итак, не смотрите мимо звезды Туба н... Через двадцать тысяч лет ось мира возвратится к ней, упрется в нее своим северным концом. Что будет означать этот возврат? Может быть, ничего. Или многое. Печально, что нам, ныне живущим, этого никогда не узнать. Никогда. И кто думает об этом, не найдет утешения. А как было бы славно, если бы это открылось. И есть ли Создатель, есть ли Начало и Конец? И почему мы говорим о том, чего не знаем: о Душе, о Бессмертии, о Вечности и Бесконечности? И что есть Время, что есть Пространство? Почему мир безудержно движется и куда?

Петр Петрович оперся обеими ладонями о горячий каменный блок пирамиды Хеопса и почувствовал - или это только показалось ему - что из него, из его тела, как ток из батареи, уходит жизнь или воля, или душа, потому что это, кажется, одно и то же, как он теряет себя, опустошается и слабеет, как камень отнимает у него и всасывает в себя его энергию, да не один камень, а вся громада, чудовищный и ненасытный вурдалак. Тогда бы понял, почему вокруг пирамид пустыня, куда утекла и выплеснулась окрестная жизнь - ее втянули в себя пирамиды и выбросили в космос, излучая своими вершинами, чтобы питать ею парящие в межзвездном пространстве души умерших фараонов, что люди - вот подлинные ушебти, а не те статуэтки из глазурованного фаянса или бронзы, которым предназначалось возделывать поля Иалу, владыки загробного мира Осириса. Трудом смертных живут бессмертные. И если вся земля превратится в пустыню, если исчезнут поля Иалу, умрут бессмертные. Если рухнут пирамиды...

Потом он бродил по развалинам заупокойных храмов: ямы, узкие перемычки, осыпи, каменная крошка, сухая колочка, ящерицы, спящие в ямах оборванные бродяги, смятые жестяные банки из-под пива и кока-колы, навозные жуки-скарабеи вокруг нечистот и над всем этим - солнце и пыль. Что он искал там?

... Петр Петрович стоял на балкончике маячной башни И смотрел в сторону моря. Это ощущение было почти постоянным: стоило лишь на мгновение забыть, что ты стоишь на башне, как море начинало двигаться навстречу, будто ты находишься на мостике судна. И это было одно из самых дорогих для Петра Петровича ощущений движение к горизонту и, в сущности, полет... Хеопс - властелин горизонтов. Кажется, эти слова были вырезаны на костяной статуэтке, найденной в пирамиде фараона. Стало быть, старик тоже любил преследовать горизонт. И вдруг соорудил себе на земле самый тяжелый якорь - пирамиду. Полет над морем, над бездной, над гранью грозной стихии - божественный полет, похищенный у небожителей трудом и разумом человека. А чайкам он подарен. Почему? Разум выше всех способностей, но обрекает человека на труд, поднимает и гнет к земле, возносит и поработает, увлекает мечтой о бессмертии и умирает вместе с человеком... Что за каналья, этот диалектический мир! В опустевших пирамидах по ночам слышен смех дьявола...

На башню поднялся Полудин и молча стал рядом. Это, очевидно, означало, что он все сделал, выполнил всю необходимую работу и теперь собирается

"смотаться" на мотоцикле в райцентр за продуктами. Они молчали минут десять, после чего Петр Петрович попросил Полудина купить для него в райцентре бутылку крепкого вина. Полудин в ответ кивнул головой и ушел.

Когда в степных балках за дальними курганами замерло рычание Полудинской "Хонды", Петр Петрович спустился с маяка. Александрина кормила во дворе кур. Петр Петрович поздоровался с ней. Александрина справилась о здоровье Петра Петровича. Петр Петрович ответил ей улыбкой и поднялся по наружной железной лестнице к себе в квартиру, вернее, на застекленную веранду.

Войдя в комнату, он сразу же направился к окну, откуда было удобно смотреть на холст, присел на подоконник, поднял глаза, чуть повременив, и обомлел: на холсте ничего не было. Совсем ничего. Он вцепился обеими руками в подоконник, чтобы не вывалиться в раскрытое окно, и, теряя сознание, инстинктивно подался вперед. Через мгновение острая боль в коленях вернула его к реальности. Он обнаружил, что лежит на полу, что ему дурно, как после жестокого похмелья, что он не может подняться, а сердце колотится не под ребрами, а в голове. Несколько минут он оставался в неподвижности, потом с трудом приподнялся на руках, повернулся и сел. Открыв глаза, увидел перед собой письменный стол, заваленный книгами и картами, портрет покойной жены над столом, а под портретом - фотографию дочери в темной застекленной рамке. Окно было справа. Оттуда, из-под верхнего угла, на него падал солнечный свет. Полоса света пересекала всю комнату и заканчивалась под станком, на котором стоял холст. Петр Петрович обречено взглянул на холст и снова ничего на нем не увидел, никаких следов рисунка. Теперь это не произвело на него никакого впечатления: он уже знал, что там ничего нет. Но - было. Это он тоже знал. Что же произошло между тем, что было, и тем, что есть?

Преодолевая боль в коленях, Петр Петрович подумал было прикоснуться к холсту, но не решился. Впрочем, и так было видно, что он стал прежним, без малейших следов угля. Зато пол под станком был припорошен черной пудрой. Петр Петрович, нагнувшись, взял с полу немного пудры и растер ее на подушечках пальцев. Это была угольная пыль, осыпавшаяся с холста, то, что еще недавно было рисунком - пирамидой, тенью, всадником на верблюде. Тончайшая пыль, которая почему-то не смогла удержаться на холсте, хотя угольный карандаш, которым пользовался Петр Петрович, был таким, как всегда, и клеевая грунтовка была приготовлена по старому рецепту.

Петр Петрович придирчиво оглядел предметы, попадавшие ему на глаза, посмотрел в окно, на унылую каменистую степь, замкнутую по горизонту грядой курганов, решительно взял уголь, сильно сжал его в пальцах и, подойдя к холсту, с размаху прочертил на нем широкую жирную полосу. Бросив уголь на полку, он вышел из комнаты на веранду, открыл дверь на площадку наружной лестницы, перегнулся через перила и окликнул Александрину. Она подошла к нижнему краю лестницы и спросила, что ему надо. Он ответил, что отправится сейчас на флотскую базу, что пойдет туда на "Эллиниде" и, возможно, вернется поздно, попросил передать Полудину, чтобы тот включил маячный огонь, не дожидаясь его.

Петр Петрович снял с вешалки куртку, берет, наполнил водою флягу и, не заходя в комнату, спустился во двор. Вышел через калитку в воротах и размашисто зашагал к северному спуску - к лодочному гаражу. И хотя мысль о холсте - о проклятом холсте! - по-прежнему занимала его, думалось и о другом: о том, что реальный мир прекрасен, предсказуем, в меру переменчив, но и в меру постоянен. Хотя человек подлинно знает только о прошлом - мы видим бывшее небо, бывшие звезды, бывшее Солнце и даже бывшую Землю, - будущее таится все же в этом прошлом, и мы можем вернуться в свой дом и узнать его, если



отсутствовали не слишком долго, найти знакомых людей, завершить некогда начатое дело, мы можем надеяться. Спасибо времени, которое движется только вперед, спасибо Эвклидову трехмерному пространству, которое позволяет нам уходить и возвращаться...

... Килограммовый амбарный замок с перепиленной скобой валялся возле распахнутой двери, шлюпки в гараже не было. Никаких следов похитители не оставили, да и какие следы могли остаться на камнях? И все же Петр Петрович обошел вокруг гаража, подумав, что шлюпку можно было увезти на машине. Но отпечатков автомобильных шин тоже не обнаружил. Спускочная тележка тем не менее стояла не на берегу, а в гараже, как если бы шлюпку к воде не спускали. Впрочем, тележку могли затолкать обратно, чтобы она зря не ржавела - умные воры знают цену вещам.

Итак, прощай "Эллинида". Как ты некогда пришла, так ты теперь и ушла... Жаль было шлюпку, жаль было, что испорчен день. Но еще более удручало то, что о пропаже шлюпки надо сообщить в милицию - ведь она значится в инвентарной описи, и при передаче маяка о ее пропаже придется отчитаться. А это - хлопоты, потеря времени, неприятные объяснения. Предстоит объясниться и с пограничниками, чья застава расположена у флотской базы. И уж пограничники, конечно, напомнят ему об "Эллиниде", когда придет срок отплытия на "Анне-Марии".

Петр Петрович вернулся домой. Снова встретил во дворе Александрину - она развешивала на веревке белье - умолчал о пропаже шлюпки, сказал, что передумал плыть на базу, так как нынче плохой ветер, и намерен теперь позагорать на балконе маяка, потому что солнышко, судя по всему, уже недолго будет баловать их своим теплом. Соврал Петр Петрович, принял на душу этот грех: намерение у него было другое - подняться на башню с биноклем и обследовать окрестные берега.

Куртку и флягу он оставил на веранде, вошел в комнату, но не обычно, а боком, чтобы в поле зрения не оказался злополучный холст, снял со стены бинокль и так же, не поворачивая головы, вышел. Он осознавал, что ведет себя, по меньшей мере, глупо и, возможно, смешно, но ничего не мог поделать: очень не хотелось заклиниваться на дурных мыслях и чувствах.

Петр Петрович поднялся на башню, приставил к глазам бинокль, навел его на резкость и принялся тщательно осматривать берег справа и слева от мыса. И когда поиск ни к чему не привел, у Петра Петровича еще осталась надежда, что шлюпку могло прибить волнами к мысу, если даже она не была брошена там. Но предстояло решить, как спуститься к подножию мыса: по обрыву или добираясь от северного спуска по скользким камням и вплавь. По обрыву - кратчайший путь, но опасный: легко сорваться. От северного спуска - менее опасный, но тоже сопряженный с риском: вода уже холодная, градусов четырнадцать, можно схватить воспаление легких.

Петр Петрович решил идти к мысу от северного спуска.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Держась руками за погруженный в воду край плоского камня, Лукашевский дождался наката волны и выбросился на ней на скользкую от водорослей поверхность. Тут же впился пальцами в неровности камня, и, едва волна откатилась, быстро прополз вперед, поднялся и устремился к вертикально уходящей вверх скальной стене мыса, где его уже не могла настичь очередная волна. Здесь было сухо и тепло. Камень, на котором он теперь оказался, был как

бы причальной площадкой у входа в Главный Грот. Отжав плавки и стерев ладонями воду с груди и боков, Лукашевский присел отдохнуть и погреться. Это тем более следовало сделать потому, что прежде чем добраться до площадки у Главного Грота, ему пришлось проплыть метров двести, так как мыс на этом участке не имел карнизов и отвесно уходил основанием в зеленую глубину, а вода здесь была особенно холодной, почти ледяной. Во всяком случае, Лукашевский сильно продрог. Заплывать в грот, не отдохнув и не согревшись, у него не было сил и желания. Там же, в сумрачном гроте, было еще холодней, как в глубоком и сыром погребе. Этот холод держался в нем летом, в самую жаркую пору, так что пловцы в нем никогда не задерживались.

В сущности, можно было бы и не заплывать в Главный Грот: вероятность того, что шлюпку затянуло именно туда, была чрезвычайно мала. Но если шлюпки нет и за буруном - за уходящей далеко в море каменной грядой, разделяющей акваторию мыса на северную и южную части, тогда, надо думать, шлюпка - чем черт не шутит - находится именно там, в гроте. И если эта- мысль верна, - что почти несомненно, - придется все-таки возвращаться сюда, а сил и желания барахтаться в холодной воде, будет тогда еще меньше. Словом, надо отдохнуть, согреться и навестить Главный Грот.

Бриз тянул с моря, но здесь был тихий закуток, да и стена, нагретая перевалившим за полдень солнцем, дышала теплом. Где-то по верхнему карнизу прошмыгнула ящерица или прошлась чайка - посыпались мелкие камешки. Лукашевский посмотрел вверх. Отсюда до верхней кромки мыса было метров девяносто - хороший полигон для отчаянных скалолазов: камень здесь рыхлый, ненадежный, перемежающийся пластами красной глины и серого губчатого ракушечника.

Лукашевский не прыгнул в воду, как, наверное, следовало бы поступить, чтобы сразу, без напрасных мучений, окунуться в холод, а спустился по уступам камня, ежась и охая, словно барышня. Но потом усиленно заработал руками и ногами, обогнул корявый каменный выступ, продолжением которого являлась коварная скальная гряда, уходящая далеко в море, и уже через минуту был под сводом грота. Его и прежде поражала огромная ширина и высота входа. Теперь же, когда он был без шлюпки, арка входа показалась ему еще более величественной.

Вода в гроте колыхалась тихо и плавно, пугала неизведанной глубиной, таящей в себе тьму и холод. Лукашевский знал, что грот поворачивает вправо и заканчивается отдаленным тупиком, где царит полная темнота. Знал он также и о том, что к концу грота дно поднимается и за несколько метров до тупика слегка выступает из воды, образуя чуть покатыю площадку, над которой в стенах выдолблены ниши, некогда предназначавшиеся, надо думать, для хранения контрабандных товаров.

Петр Петрович доплыл до колодезного пятна и посмотрел вверх: зарешеченный выход из колодца казался отсюда крохотным, не более десятикопеечной монеты, срезом на вершине высокого конуса. Петр Петрович подплыл к стене и подержался за выступ, чтобы передохнуть. Прислушался, не скрипнет ли трущаяся где-нибудь бортом о камень шлюпка. Но было тихо, как в Афонских пещерах, как в погребальных камерах фараонов...

Лукашевский снял руку с выступа, оттолкнулся ногами от стены и поплыл дальше, за поворот, в темноту, надеясь на то, что так или иначе столкнется со шлюпкой, если она здесь: за поворотом грот был не так широк, как у входа.

Сначала он подумал, что ему почудилось, будто в конце грота мелькнул свет. Петр Петрович на всякий случай подался вправо, к стене. И уже оттуда воочию увидел вынырнувший из-за кромки ниши огонек. Горела свеча или масляная

плошка. Огонек освещал нишу и часть площадки под нею. Петр Петрович замер и поводил глазами по сторонам. Никакого движения, никакого звука. Другие ниши да и добрая часть площадки оставались в темноте. В этой темноте, затаившись, мог скрываться тот, кто зажег свечу.

Остаться неподвижным в ледяной воде дольше Петр Петрович не мог. Надо было что-то делать: либо возвращаться, либо плыть вперед.

"Кто здесь? - громко спросил Петр Петрович, но ответа не последовало. - А, дьявольщина!" - выругался Петр Петрович и двинулся вперед.

И вдруг увидел шлюпку, "Эллиниду". Она стояла у стены, задрал нос, выползший на площадку, как если бы ее кто-то пытался вытащить из воды.

Петр Петрович остановился, ощутив ногами дно, и еще раз спросил, есть ли тут кто-нибудь. Этот кто-нибудь непременно должен был существовать - ведь горела свеча! Теперь Петр Петрович разглядел, что это была свеча, зажженная не так давно, поскольку не сгорела и наполовину. Никто не отозвался и на этот раз.

Петр Петрович поднялся на площадку, взял свечу и прошелся с нею вдоль ниш, готовый в любой момент отскочить или отразить нападение.

Ниши оказались пустыми, и в шлюпке никого не было. Можно было бы вздохнуть с облегчением, если бы не свеча: не сама же она загорелась? Да и принести ее сюда мог только человек. А человек-то как раз и отсутствовал. Можно было, конечно, предположить, что он приплыл сюда на шлюпке, вытащил ее на камни, зажег в нише свечу и затем вплавь покинул грот.

Но зачем?

Лукашевский толкнул "Эллиниду" на воду, пристроил на банку горящую свечу, вставил в уключины весла и стоя, чтоб весла не цеплялись за стены грота, погреб к выходу. Засмеялся, когда очутился за пределами грота под слепящим солнцем на зеленой упругой волне.

На маяк Лукашевский вернулся с новой для себя загадкой. И с победой, конечно: запертая в лодочном гараже "Эллинида" была тому свидетелем. А дома его ждала старая загадка: полоса на холсте, как он и предполагал начисто исчезла. Впрочем, трудно сказать точно ли он предполагал это: ведь разумного объяснения случившемуся по-прежнему не было, а предвидеть неразумное - кто же отважится на такое в здравом уме? Скорее всего, Лукашевский лишь допускал, что случившееся однажды может повториться. И вот оно повторилось: полоса пропала, холст был чист, словно к нему никто и никогда не прикасался.

Петр Петрович снял холст со станка, отнес в другую комнату и сунул в шкаф - подальше от глаз. И чтоб уж совсем ничего не напоминало ему обо всей этой чертовщине, спрятал в ящик краски и кисти, а станок выволок на веранду и накрыл мешковиной.

Возвратился из райцентра Полудин с Павлушей, принес Лукашевскому бутылку мадеры.

Ни об "Эллиниде", ни тем более о холсте Лукашевский рассказывать Полудину не стал: Полудин был не из тех людей, кого всякого рода странности удивляли или озадачивали. На такие рассказы он реагировал всегда одинаково - говорил, что это сказки, досужие выдумки или просто преднамеренная ложь. Но чаще всего он пользовался при этом одним коротким словом - бред.

Но Лукашевскому не хотелось отпускать Полудина. Он распечатал бутылку, наполнил вином два бокала и предложил Полудину выпить, сказав, что придумал подходящий тост: за путеводный свет. Полудин рассмеялся: этот тост Лукашевский произносил и раньше.

Лукашевский насупил брови и спросил, чем его тост так развеселил Полудина - ведь это серьезный тост: за маяк, за его исправную работу. При этом в голосе Петра Петровича явно прозвучали нотки раздражения.

Полудин пожал плечами, посмотрел на Петра Петровича с недоумением - его нервозность была для Полудина неожиданной и непривычной, - сказал, что обрадовался тосту, как старому знакомому, и выпил.

Полудин рассказал историю, которая окончательно повергла Петра Петровича в душевое смятение: возвращаясь из райцентра, Полудин, по его словам, увидел непонятное - на трех придорожных курганах появились каменные бабы, которых там раньше не было. Но еще более непонятным для Полудина было то, что бабы возникли как бы вдруг - на пути в райцентр Полудин их не видел - и при том без следов какой-либо работы: ни взрыхленной земли вокруг них, ни смятой травинки. "Будто с неба свалились!" - заключил свой рассказ Полудин, тараща глаза.

Александрина предположила, что Полудин просто перегрелся на солнце. Слова ее так обидели Полудина, что он раскричался и потребовал немедленно ехать к курганам.

Поездка закончилась скверно. Полудин едва не лишился рассудка, когда убедился, что никаких каменных баб на курганах нет. Он разрыдался, разорвал на себе рубаху, порывался есть землю - в доказательство того, что он ничего не выдумал - и успокоился только дома, когда Петр Петрович заставил его допить оставшуюся мадеру.

Вечерними делами на маяке Лукашевский занялся сам: включил свет, вывел на нужную волну радиосигнал, подключил для подзарядки очередной блок аккумуляторов, проверил на случай непогоды работу ревуна, связался с погранзаставой

Полудин оставил на пульте пачку привезенных из райцентра газет. Петр Петрович без особого интереса просмотрел их: к газетам он так и не привык, потому что за долгие годы капитанства первым и главным источником новостей для него стало радио. Одно газетное сообщение все же приковало его внимание: в нем шла речь о слепом американце, переплывшем в одиночку на яхте Атлантику. Правда, яхта была оборудована говорящим компьютером и приборами с датчиками Брайля. Но слепой американец пользовался ими лишь в первые дни: после первого жестокого шторма вся навигационная система яхты вышла из строя. Отчаянному яхтсмену грозила неминуемая гибель, но он вдруг... прозрел. Прозрел на одну только ночь - и спасся, выбросившись на остров.

Петр Петрович так разволновался, прочитав сообщение, что чуть было не побежал к Полудиным с газетой, но вовремя остановился. Из-за охватившего его волнения он как-то не сразу осмыслил, что американец прозрел лишь на одну ночь, на ту самую ночь, когда бушевал шторм. Осмыслив же это, разволновался еще больше. И сказал себе: вот он, ключ к его мечте, к его страсти - прозреть! Пусть только на одну ночь, пусть на миг, но прозреть и увидеть то, чего никак не может увидеть его душа: зачем все это-жизнь, смерть, радости, страдания - и не напрасны ли наши надежды? Да, да, говорил себе Петр Петрович, он уйдет в кругосветное плавание и там, быть может, однажды прозреет и все поймет. Может быть, в одну из жутких штормовых ночей, может быть, за минуту до гибели, но все же поймет...

Звезды в чистом холодном небе сверкали, как огни дальних космических маяков. Лукашевский подумал, что и его маяк, выбрасывающий ритмично в пространство порции света, кажется откуда-нибудь мерцающей звездой. Он быстро нашел Малую Медведицу, созвездие Дракона, а в нем, между Мицаром и Ковшом Малой Медведицы - звезду Тубан. Маленькую звездочку, едва приметную. Лукашевский вышел за ворота и снова нашел ее. За долгие годы плаваний Лукашевский привык к звездам, помнил множество их названий, но об этой, о звезде Тубан, узнал только на авеню Пирамид в Гизе. Двадцать тысяч лет

до возврата. Значит, только через десять тысяч лет маятник мировой оси замрет на мгновение в какой-то точке пространства - в какой же? - и медленно пойдет обратно. К звезде Тубан. Не смотрите мимо звезды Тубан! Но время - пойдет ли оно вспять? Маятник качается туда и сюда, а время летит только вперед - так показывают часы. Глаз Тубана не найдет в погребальной камере пирамиды Хеопса гранитного саркофага фараона, властителя горизонтов.

Петр Петрович вышел за ограду своей крепости не ради звезды Тубан и, конечно же, не ради этих грустных мыслей: мысли - что? - сами пришли и сами ушли, как ветер, разворошив старые листья былого. Лукашевский вышел из дома с тайным желанием заглянуть в колодец Главного Грота. И хотя знал, что это может лишь навредить ему, прибавить к его ряду странностей новую чертовщину, его все же тянуло туда, как может тянуть только дурное предчувствие - и страшно, и нельзя остановиться.

Ночь была хорошая, - от ворот был четко виден край мыса, то темный на фоне неба, то освещаемый короткими вспышками маячных лучей. Море за мысом молчало. Молчала и осенняя степь. Летом - цикады, переклички перепелов, музыка и человеческие голоса со стороны южной долины, шорох и сонный писк птенцов на скальных карнизах мыса. А теперь вот - полное безмолвие. Лукашевский двинулся к колодцу по тропинке.

Тропа у колодца не кончалась, вела дальше, к южной долине. Трава вокруг колодца была вытоптана, как на овечьем тырле: ведь каждый из отдыхающих старался заглянуть в него - у колодца была дурная слава. Старожилы рассказывали, что белые сбрасывали в него красных, красные - белых, немцы матросов, матросы - немцев, а некий ревнивец по имени Жора столкнул в него свою неверную жену Нюру. Об угодившем в колодец пьяном отдыхающем вспоминали реже, а он-то, кажется, был единственным, кто здесь действительно погиб.

Предшественник Лукашевского обложил колодец по кругу камнями. Следуя традиции, Петр Петрович ежегодно поправлял эту ограду, сделал ее выше, чтобы никто не набрел на решетку в темноте. Подойдя к колодцу, Петр Петрович перегнулся через ограду и посмотрел сквозь решетку вниз. Увидев на дне колодца свет, Петр Петрович откачнулся, протер глаза и нагнулся снова. Светилась вода. Свет был неровный, колеблющийся, как от свечи. Лукашевский поднял с земли небольшой камень и бросил его на решетку. Камень ударился о прутья, провалился сквозь ячейку и беззвучно канул. Дно колодца продолжало светиться. Петр Петрович отошел от колодца, постоял в тупой задумчивости, плюнул и побрел домой. Теперь в ряду странностей еще и эта - колеблющийся свет на дне колодца... Было уже поздно, но Петр Петрович все же позвонил Яковлеву. Яковлев не сразу взял трубку, долго ворчал: "Какого черта тебе не спится?!", жаловался на радикулит, на усталость, на плохой сон и вообще на проклятую и бестолковую жизнь и лишь потом спросил, что Лукашевскому надо. Петр Петрович попросил Яковлева приехать на маяк завтра же, а по пути остановиться возле курганов и посмотреть, не торчат ли на них каменные бабы. Яковлев не очень-то понял, почему Лукашевский так настойчиво зовет его к себе, но пообещал приехать. Спросил, не надо ли чего. Петр Петрович, ответил, что нужен только он - для важного и секретного разговора.

После короткого сна - да и спал ли он, скорее всего нет, просто блуждал в сумбурных мыслях и видениях - Лукашевский спустился в аппаратную и увидел Полудина. Полудин стоял перед пультом, скрестив руки на груди, и насвистывал ламбаду. Поприветствовал Лукашевского кивком головы, досвистел мелодию до конца и сказал, что готов подежурить у пульта часок-другой, если у Лукашевского есть желание поспать. Увидев, что Петр Петрович не торопится

воспользоваться его предложением, спросил, как ему понравились приготовленные Александриной бараньи котлеты. Петр Петрович в ответ усмехнулся: Полудин мог бы спросить и о чем-нибудь другом - отменные котлеты были не самым памятным событием минувшего дня. Но таков был весь Полудин: когда, например, птицы на перелете разбивались о маяк - а это, к несчастью, случается каждой осенью - он тревожился не о птицах, а о том, как раздобыть мыльный порошок для мытья маячного фонаря. Петр Петрович, конечно, похвалил котлеты и тогда Полудин принялся снова рассказывать историю о том, как он раздобыл у чабанов кусок баранины. Из его рассказа получалось, что он уломал самых неуступчивых на свете людей, проявив при этом чудеса красноречия и хитрости.

Закончив историю о покупке баранины, Полудин тут же переключился на другую - стал рассказывать о том, как необыкновенно смело - весь в отца! - ведет себя его шестилетний сын Павлуша, совершенно не боясь мотоциклетной тряски, больших скоростей и крутых виражей. Все другие дети, утверждал Полудин, трусишки, а Павлуша - мальчик исключительный, потому что скорость для него - удовольствие. Вчера, например, на обратном пути из райцентра, влюбленно рассказывал Полудин, когда его "Хонда" вынесла их на прямой участок дороги, Павлуша потребовал прибавить газу и Полудин прибавил, да так, что зашкалило спидометр. Тут и взрослый встряхнул бы, а Павлуша только завизжал от восторга.

Лукашевский спросил, где этот участок дороги. Спросил машинально, без всякой тайной мысли, чтоб поддержать разговор, но оказалось - он поздно спохватился, - что тайная мысль все-таки была: прямой участок дороги находился возле курганов и, значит, спидометр на "Хонде" зашкалило перед тем, как Полудин увидел на курганах каменных баб.

Полудин вскинул голову и замолчал: дальше надо было рассказывать о каменных бабах, возвращаться к разговору, ради которого он, собственно, и пришел в аппаратную. Повздыхав, он пристально посмотрел в глаза Лукашевскому и, страдая, спросил, верит ли он в то, что каменные бабы на курганах были. Полудин поставил вопрос прямо и, очевидно, ждал такого же прямого ответа.

Лукашевский, чертыхнувшись, ответил, что да! верит! что каменные бабы на курганах были и Полудин их видел, но... Тут он хотел сказать, что исчезновение баб требует какого-то разумного объяснения, которым он не располагает - и это было бы честно, но не сказал, потому что в этот момент в голову ему пришла счастливая мысль о киношниках. Спасительная мысль: это киношники, предположил он, поставили на курганах баб для съемок и, наверное, не вчера, а раньше. Вчера же убрали их уже после того, как Полудин побывал там и рассказал о бабах ему, Лукашевскому, и Александрине. Вот и саклю поставили киношники, которая до сих пор торчит в южной долине, и Главный Грот не раз избирали местом для съемок.

Полудин размяк и, улыбаясь, уронил на грудь свою измученную голову: то, что сказал Лукашевский, все объясняло и все ставило на свои места.

Утром, едва рассвело, Петр Петрович взял бинокль и поднялся на башню маяка. Восточный край неба был светел и высок. Зеленовато-голубое сияние, достойное лучших, божественных широт, теснило к зениту мутную синь, обещая если не последний денек бабьего лета, то один из последних, потому что осень и без того была уже слишком щедра. Ах, черт возьми, как он любил встречать эти утренние часы в море, на палубе, где-нибудь в Адриатике или в южной Атлантике. Как он наслаждался ими, как радостно становилось тогда у него на душе, какой приятной и надежной казалась тогда жизнь, а Земля - самой лучшей и

благословенной планетой. И зачем он здесь, в этой глуши, на неподвижной каменной башне, небритый, усталый, старый и одинокий?..

Лукашевский поднес бинокль к глазам и еще толком не разглядев, что там чернеет на дальних курганах, задохнулся и уронил бинокль на грудь. Какие там, киношники, какая там техника?! - каменные бабы, целых три, торчали на вершинах курганов, как злая насмешка над ангельской чистотой расцветающей зари. Теперь он, видел их и так, без бинокля, потому что темная пустыня словно сжалась под натиском рассвета, приподняла и приблизила горизонт, отороченный курганами. Он протер кулаками глаза и снова поднес к ним бинокль. Да, все так и было: слепые каменные бабы стояли на курганах в ожидании восхода солнца, бездушные творения бездушных времен, кургузые и низколобные истуканы. Они вернулись.

Снизу, со двора, Лукашевского окликнул Полудин. Спросил, что он там видит. Лукашевский предложил ему подняться на башню и посмотреть самому.

Едва Полудин навел бинокль на курганы, как у него совсем по-детски задрожал подбородок. Лукашевский хотел отнять у него бинокль, но Полудин, оттолкнув его плечом, почти вдавил окуляры в глаза. На скулах проступила злая желтизна. "Так что? - спросил он. - Опять киношники?"

"Опять киношники", - ответил Лукашевский.

К курганам они поехали втроем на машине Лукашевского. Александрина старалась развеселить угрюмых мужчин, но ни Полудин, ни Петр Петрович на ее "подначки" не отвечали. В конце концов Александрина отказалась от своих тщетных усилий и тоже замолчала.

Две бабы стояли на курганах справа от дороги, одна - слева. Все было точно так, как рассказывал вчера Полудин: не было никаких следов того, что кто-то недавно установил этих истуканов. Они словно выросли из земли, не потревожив ни травинки вокруг. Выросли за одну ночь, исчезнув накануне.

Полудин сказал, что ему нехорошо и на третий курган не поднялся, остался возле машины. Когда Александрина и Лукашевский вернулись к нему, он сидел на обочине дороги и курил. Александрина и Петр Петрович присели рядом с ним. Несколько минут молчали, потом Петр Петрович, потрогав Полудина за плечо, сказал, что надо ехать домой.

... Петр Петрович завтракал, когда у ворот засигнали-ла райисполкомовская "Волга" - приехал Яковлев. Увидев, что Лукашевский на ногах и здоров, Яковлев побранил его за ночной звонок и спросил, что случилось. Лукашевский повел его в дом, вынул из-за шкафа злополучный холст, прислонил к стене и, ткнув в него пальцем, спросил, что Яковлев на нем видит. Яковлев ответил, что видит какую-то пирамиду, скорее всего пирамиду Хеопса. Лукашевский только теперь взглянул на холст и ахнул: на нем действительно был рисунок пирамиды Хеопса, перечеркнутый черной жирной полосой. Тот самый рисунок, и та самая полоса. Лукашевский, слабея, опустился на стул и закрыл глаза.

Яковлев подумал, что Петр Петрович ждет от него похвалы за свою работу, и принялся, как мог, рассуждать о четкости, объемности, компоновке рисунка, пожурил Петра Петровича за то, что тот перечеркнул рисунок, сказал, что так относиться к своим творениям нельзя. "В таких делах, как живопись, - резонно заметил он, - необходимы терпение и старание, ибо тут сама природа подает пример..."

Лукашевский прервал Яковлева и спросил, как ему понравились каменные бабы на курганах. Яковлев недоуменно пожал плечами: никаких каменных баб он нигде не видел, хотя, помня о недавнем телефонном разговоре, останавливался возле курганов.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Туман надвинулся еще с вечера - его пригнал северный ветер. Сначала шел верхом, не касаясь земли и воды, а с закатом солнца стал провисать, цепляться за мыс и, наконец, лег, плотный и холодный, мгновенно погасив вечернюю зарю. Наступила та самая тьма, которая темнее ночи.

Вспышки маяка, рассеиваясь в тумане, высвечивали черный силуэт башни, казались за окнами грозowymi сполохами. Низкие утробные рыки ревуна были слышны даже сквозь двойные рамы, ударяли по стеклам, повергая Петра Петровича в бездеятельную угрюмость и тоску. Одиночество ощущалось так остро, что в голову лезли отвратительные мысли, само существование казалось бесцельным и пустым. Лукашевский знал об этой особенности ревуна, генератора низкочастотных звуковых колебаний - в свое время его предупреждали об этой особенности что-то рушилось в душе от заунывного рева, чуждого всем земным звукам. Но он был нужен тем, кто блуждает в тумане и к кому не пробиваются лучи маяка. Следовало бы чем-нибудь заняться, но в том-то и заключалась гнетущая власть ревуна, что, даже зная о ней, сопротивляясь ей, невозможно было побороть в себе апатию.

Бабы на курганах больше не возникали. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что без них Лукашевскому жилось спокойнее, плохо потому, что Полудин теперь почти ежедневно ездил к курганам, а уж смотрел в их сторону всякий раз, когда выходил из дому.

Яковлеву Лукашевский рассказал лишь про каменных баб. Про возникновение и исчезновение пирамиды и про свечу в гроте умолчал. Теперь, когда слухи о каменных бабах распространились по всему району - посеял их сам Полудин, Лукашевский оценил свою сдержанность.

Тревожило Петра Петровича и другое: он все чаще стал вспоминать о своих погибших девочках - о жене Анне и дочери Марии. О том, как жестоко распорядилась их жизнями судьба и как ничемна его жизнь без них. Едва ли не еженощно он видел их во сне. Вернулась боль, вернулась тоска. Невольно думалось, что это неспроста, что близится и его последний час...

Так, надрывая себе сердце, размышлял в глубокой печали Петр Петрович в ту глухую осеннюю ночь, когда в дверь его квартиры с веранды кто-то постучал. Лукашевский взглянул на часы - стрелки показывали половину второго. Он никого не ждал. С Полудиным Петр Петрович простился еще с вечера - когда накатывал туман, смотрителю предписывалось дежурить самому.

Стук повторился, и Лукашевский подошел к двери. Видит Бог, ему ни с кем не хотелось встречаться, тем более в столь поздний час. Он медлил повернуть защелку замка, стоял и ждал, что пришедший подаст голос, назовет себя. Но за дверью было тихо. Самому же спрашивать не хотелось. И лишь когда стоящий за дверью постучал в третий раз, Петр Петрович спросил, кого там принесла нелегкая. Почему-то надеялся, что услышит в ответ знакомый голос. Но голос оказался не только незнакомым, но и странным - глухим и болезненным.

"Отворите ради Христа", - произнес человек за дверью.

Лукашевский повернул защелку и открыл дверь. Перед ним стоял высокий и худой мужчина, с мокрыми длинными волосами, небритый. Он прижимал к груди руки, по которым струилась кровь. Одет он был в серый, прилипший к телу хитон, ноги его были босы, все в кровавых ссадинах. Человек дрожал от холода и смотрел на Лукашевского умоляющими о милосердии глазами.

"Впустите ради Христа", - повторил он, не двигаясь с места.



Лукашевский отошел от двери и кивнул незнакомцу головой, приглашая войти. Незнакомец нерешительно перешагнул порог, прошел до середины комнаты и обернулся. На полу остались мокрые следы его ног. Лукашевский закрыл дверь и, прислонясь к ней спиной, выжидающе поглядел на незваного гостя.

"Как вас зовут?" - устало спросил человек, осматривая комнату.

"Петр", - ответил Лукашевский, хотя следовало бы, наверное, сказать: "Петр Петрович". По имени его называл только Яковлев.

Гость облегченно вздохнул и удовлетворенно покивал головой. Потом сказал, что просит приютить его, накормить и обогреть, потому что - при этом он оглядел свой мокрый наряд - не имеет ничего: ни теплого пристанища, ни пищи.

"Я очень устал", - добавил он и сел на стул, обхватив себя за плечи руками.

Белье, халат, горячий душ, ужин, постель - все это Лукашевский мог предложить гостю и не спрашивая его ни о чем: истинное гостеприимство не должно зависеть от того, кто переступил порог твоего дома. Таков закон. Но назвать свое имя незнакомец был все же обязан - это так естественно: узнав, как зовут хозяина, представься и сам. Это тоже закон. Гость, однако, молчал.

Закрыв глаза, он уронил голову на грудь и, казалось, задремал. Петр Петрович сердечно посочувствовал ему: мокрый, продрогший, голодный, израненный, он нуждался в его помощи. И, конечно же, в прощении - и за поздний приход, и за молчание.

Лукашевский вынул из шкафа свой махровый халат, достал с бельевой полки майку, трусы, полотенце, теплые носки. Отнес все это в ванную, наладил газовую колонку и, возвратясь в комнату, где сидел гость, окликнул его.

"Вы можете помыться, - сказал он. - Пожалуйста".

Гость открыл глаза и встал. Лукашевский взял его за локоть, проводил в ванную и там, ничего не говоря, промыл ему одеколоном раны на руках и на ногах, предложил надеть на руки резиновые перчатки, а садины на ногах заклеил пластырем. Затем отрегулировал душ, показал, где лежит одежда и оставил незнакомца одного. Сам же отправился на кухню, чтобы приготовить ужин. Поджарил несколько яиц, вскипятил чай, разогрел над газовым пламенем черствый хлеб. Выставил все это на стол и принялся ждать гостя. Тот долго не появлялся, в ванной шумела вода. Лукашевский подумал, что успеет навеститься к пульту, спустился в аппаратную и через несколько минут возвратился. Гость уже сидел за столом и ел. Лукашевский пожелал ему приятного аппетита. Гость виновато улыбнулся и указал глазами на свободный стул. Петр Петрович сел и стал смотреть, как гость ест. Когда тот справился с яичницей, Петр Петрович налил ему чаю. Отпив глоток, незнакомец поставил чашку и вдруг спросил:

"Далеко ли отсюда до Рима?"

Петр Петрович поднял плечи и развел руками. Незнакомец ждал.

"В каких мерах длины вы хотите знать расстояние до Рима? - спросил Петр Петрович. - В морских милях или километрах?"

Гость задумался, но ничего не сказал и принялся пить чай. Это длилось так долго, что Петр Петрович в конце концов не выдержал, и спросил незнакомца, кто он и откуда. Гость допил чай, пристально посмотрел на Петра Петровича, вздохнул и ответил. Ответ его ошарашил Петра Петровича, ибо из него следовало, что незнакомец либо не в своем уме, либо все из того же странного ряда. Он сказал, что не знает своего нынешнего имени и не понимает, как и зачем он здесь появился. Об имени он добавил, что это знак земного предназначения, какового у него нет, так как появился здесь, судя по всему, случайно, в результате какой-то ошибки, которая вскоре будет исправлена.

С трудом переварив все это, Петр Петрович собрался с духом и спросил, бывал ли он здесь раньше. Гость ответил, что никогда не бывал и очень удивлен, что оказался здесь, а не в Риме, где он, кстати, тоже никогда не бывал.

Если он не бывал в Риме, с досадой подумал Петр Петрович, то, наверное, бывал в другом месте и мог бы об этом сказать, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию.

Гость встал из-за стола, поклонился Петру Петровичу и сказал, что хочет прилечь.

Петр Петрович постелил ему на своем диване - сам он в эту ночь ложиться не собирался - пожелал ему спокойной ночи и вышел из спальни, закрыв за собою дверь. Гость спросил через дверь, кто это так страшно ревет, какой зверь. Петр Петрович ответил, что это не зверь, а ревун, звуковой генератор.

"Звуковой генератор, - сказал гость. - Конечно. Это не зверь".

Лукашевский сел за письменный стол, раскрыл первую попавшуюся под руки лоцию и неприятно удивился увидев, что перед ним описание Тирренского моря и подходов к Чивитавеккьи, римскому порту.

Чем дальше он думал о незнакомце, тем больше возникало вопросов: кто он, зачем, откуда, как появился, почему у него изранены руки и ноги, будто карабкался на мыс по скале, отчего мокрый, босой, откуда у него этот странный, похожий на женское платье наряд, куда идет?..

Грешным делом подумал, что следовало бы, пожалуй, сообщить о нем на погранзаставу капитану Квасову: человек чужой, без документов, никогда здесь не бывал, спрашивает о Риме, не знает или не хочет назвать свое имя, явился ночью, говорит Бог знает о чем... Безумец? Или свалился с борта чужого судна?

Вопросов было много, а ответа ни одного. В конце концов Петр Петрович решил, что поговорит с незнакомцем завтра, когда он отдохнет и придет в себя. Спустился вниз, к пульту. Потом вышел во двор, выглянул за ворота. Подосадовал, что калитка оказалась открытой - на ночь он всегда запирает ее на щеколду, а нынче, кажется, забыл.

Маяк работал исправно, посылая в кромешную тьму луч за лучом, стонал ревун. Текущий под ветром туман осыпался моросью. До рассвета было еще далеко.

Лукашевский вернулся в аппаратную и увидел у пульта своего незнакомца. Он стоял у радиопередатчика и держал в руке наушники. На нем был халат, на ногах - ночные шлепанцы. Перед ним на щитке пульта горела свеча.

Незнакомец встретил Лукашевского улыбкой, положил наушники и, указав рукою на пульт, сказал, что он ему очень нравится. Потом добавил, что Лукашевский ему тоже очень понравился своею приветливостью и радушием ("Это я запомню", сказал он) и что ему жаль с ним расставаться.

"Но пришла пора уходить, - вздохнул он. - Пора!" С этими словами незнакомец взял свечу и направился к двери. Но на пороге остановился и, обернувшись, спросил: "В какую сторону света маяк посылает лучи?"

"На запад", - ответил Лукашевский.

Незнакомец кивнул головой и, прикрывая ладонью огонек свечи, шагнул в темноту. Лукашевский решил остановить его. Он догнал его во дворе как раз в тот самый момент, когда ветер задул свечу.

"Ничего, - сказал незнакомец. - Я пойду по лучу маяка".

"Но в той стороне обрыв и море!" - предупредил его Лукашевский.

"Это все равно, - сказал незнакомец. - Это ничего".

Калитка, казалось, сама открылась перед ним. За воротами, освещаемый короткими вспышками света, незнакомец протянул Лукашевскому погашенную свечу, коснулся рукой его плеча и крикнул, стараясь пересилить рык ревуна:

"Вы в опасности! Вас одолевает прошлое!"

Наступила темная пауза. А когда маяк снова проткнул туман своим лучом, незнакомца уже не было.

Петр Петрович не сразу вернулся в дом. Все ждал, что незнакомец одумается и возвратится на свет маяка. Но не дождался.

Дома Петр Петрович сразу же заглянул в спальню, затем в ванную. Убедившись, что смятая постель пуста, а в ванной на проволоке для просушки белья висит хитон незнакомца, Петр Петрович сказал себе, что гость все-таки был, что он ему не приснился, не почудился. Это, однако, не успокоило его: ведь гость в темноте мог сорваться с обрыва...

Осмотреть берег удалось только за полдень, когда туман поднялся над водой. Петр Петрович проплыл вдоль мыса на шлюпке, осмотрел каждый камень, каждую площадку. Заглянул и в Главный Грот. Никаких следов ночного гостя не обнаружил ни на камнях, ни в гроте. Лишь спустя несколько дней в киношной полуразрушенной сакле нашел свои ночные шлепанцы, в которых видел незнакомца в последний раз. Шлепанцы стояли на подоконнике сакли. Петр Петрович обрадовался этой находке: ведь шлепанцы не могли оказаться в сакле сами собой, их оставил здесь незнакомец. Значит, ничего худого с ним не случилось: он ушел тогда не к обрыву, а в сторону южной долины. И слава Богу! Но зачем снял шлепанцы? Вспомнил, что они ему не принадлежат? Чудак! Но тогда мог бы оставить и махровый халат. Халатом Петр Петрович дорожил больше, чем шлепанцами: он был подарен Петру Петровичу его покойной женой...

В тот же день Лукашевский побывал в райцентре, запасся там кое-какими продуктами, навестил расхворавшего Яковлева. Накануне Яковлев звонил ему, жаловался на обострившийся радикулит и просил приехать.

Потолковали об экстрасенсах, астрологах, колдунах, гадалках, о гомеопатии, мануальной терапии, о знахарях и чернокнижниках, об инопланетянах, о СПИДе, о Боге, о вечной душе - словом, о том, без чего не обходились разговоры в тот год. И, конечно же, о политике, о партиях, о платформах, о том, что эфир и газеты нынче словно взбесились, задавшись целью превратить народные мозги в кашу, что это, пожалуй, плохо кончится, если теперь же все не образумится и не возьмутся за работу. Вздыхали, горячились, пророчествовали. В пророчествах Петра Петровича было больше мрачного. Яковлев же склонялся к тому, что все в конце концов "перемелется - мука будет". Сошлись на некрасовских строчках Лукашевский вспомнил: "Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе". Опять заговорили о вечной душе, потому что обоим все-таки хотелось если не дожить до той прекрасной поры, то хотя бы узнать, что она наступила. Пусть не здесь, не на этом свете узнать, а как-нибудь изловчиться и взглянуть на этот мир оттуда. Посмеялись, конечно, над своей пустой мечтательностью, пожалели, что ни в какую вечную душу верить уже не могут - не так были воспитаны, чтоб теперь поверить. Поплакали, но не слезами, а словами о том, что души их - увы! - загублены: ведь столько их влачили по грязи, по крови, по лжи - по таким ухабам и колдобинам, на которых не выдержала бы и сталь. Бог создал их бессмертными и свободными, а они умрут рабами. Если только правда то, что они когда-то были свободными и бессмертными.

"Знаешь, Петр, - сказал Яковлев, когда они прощались, - я кое-что придумал. Ведь грешники-атеисты тоже бессмертны, иначе некому было бы мучиться в аду. Значит, еще не все потеряно, а?"

"Еще не все потеряно", - согласился Лукашевский и крепко пожал Яковлеву руку.

Уже вечерело, когда Петр Петрович, попетляв по пустынным балкам, поднялся на плато, к курганам. Еще издали он увидел, что на ближайшем к проселку кургане стоят какие-то люди. Поравнявшись с курганом, Лукашевский остановился и вышел из машины. Люди на кургане что-то делали, рядом с ними, задним бортом к вершине стоял грузовик.

Трудно было допустить, что стоящие на кургане люди не видят его. Но они не обратили на него никакого внимания даже тогда, когда он приблизился к подножию кургана. Люди о чем-то разом и громко разговаривали, а двое из них - всего их было пятеро - копали землю, работая киркой и лопатой. Все они были одеты в длинные серые плащи с капюшонами.

Лукашевский поднялся на курган и остановился чуть поодаль от людей. Теперь он увидел, что рядом с ямой, которую копали двое, лежит, скрестив руки на животе, длинная каменная баба.

"Чем занимаемся, мужики?" - спросил Лукашевский.

Но и теперь никто из людей не взглянул на него. Копавшие выбрались из ямы, а трое других, взяв в руки ломы, принялись подвигать бабу к яме. Баба, обрушив край ямы, сползла в нее. Люди поставили ее вертикально, взяли за лопаты и быстро забросали яму землей. Затем уложили на притоптанную землю квадраты дерна, принесенного из грузовика, полили дерн водой из канистры и кто-то из людей, пошлепав бабу ладонью по широкой спине, сказал, что теперь она будет стоять здесь "как вкопанная". Все громко рассмеялись. Затем, дружно побросав лопаты и ломы в кузов, забрались в него сами и грузовик, рыча, съехал с кургана. У следующего кургана грузовик развернулся и стал подниматься на него задним ходом.

Лукашевский обошел бабу кругом, попробовал качнуть ее, но баба не поддалась, стояла прочно - "как вкопанная".

"Ну, ну, - сказал Лукашевский. - С возвращением!" Из дому он позвонил Яковлеву и спросил, что это за типы устанавливают на курганах каменных баб. Яковлев рассмеялся и принялся плести чепуху, дескать, баб устанавливают то ли инопланетяне, то ли выходцы с того света. Лишь после того, как Лукашевский послал его к черту, предположив, что он выпил все оставшееся в бутылки вино, Яковлев сказал, что идет "плановая работа": сотрудники краеведческого музея, в котором скопилось несколько десятков каменных баб, возвращают этих баб на прежние места, чтобы таким образом расчистить двор музея и украсить древностями плато, где в будущем году предполагаются съемки фильма из жизни скифов. "Студия выделила им на эту работу кругленькую сумму, - добавил он. Так что успокойся и предупреди Полудина, чтоб он не свихнулся".

Лукашевский дождался Полудина в аппаратной. Обсудив с ним детали предстоящего ночного дежурства, на которое тот заступал, Петр Петрович рассказал ему про каменных баб.

"Опять? - набычился Полудин. - Не надоело?!" Петр Петрович пожелал ему спокойного дежурства и отправился домой.

Дома, приняв теплый душ и поужинав, Лукашевский лег в постель, намереваясь прочесть перед сном газеты, купленные в райцентре. Ночь была ясная, ревун молчал, и отсветы маячного огня за окном не беспокоили - лучи не рассеивались. На тумбочке мирно тикал будильник. Петр Петрович завел его на семь часов, собираясь с рассветом отправиться на флотскую базу - пришла пора побывать там, посмотреть, как идут дела на яхте, и уплатить мастерам очередную сумму за работу...

... Стук в дверь разбудил Лукашевского. Он поднялся так резко, что сердце едва не выскочило из груди. Опершись на тумбочку, он с трудом перевел дух. Стук повторился, но Лукашевский не двинулся с места. И не подал голоса: образ

незваного гостя еще витал в его мозгу. И потому подумалось, что за дверью стоит именно он. Встретаться с ним Лукашевскому не хотелось. Петр Петрович решил не откликаться на стук и даже погасить свет. Он протянул руку к выключателю, но нажать не успел: за дверью послышался голос Полудина. Чертыхаясь, Петр Петрович открыл дверь и спросил Полудина, что стряслось.

Ничего не стряслось. Просто с моря накатила туман и надо было включить ревун. Полудин пришел за разрешением.

Петр Петрович махнул рукой, дескать, включай, чего уж там, мог бы и не спрашивать.

Был у Петра Петровича один тайный порок: иногда он закуривал свою капитанскую трубку. Это было нарушением давнего обета, крушением воли, его позором, потому что обет был дан Анне. Он курил вопреки потребностям натуры, ради капитанского имиджа или, говоря проще, для форса и наносил тем самым, по мнению Анны, серьезный вред своему здоровью. По настоянию Анны, однажды он забросил трубку, поклявшись, что сделал это навсегда. Но в тот день, когда узнал о гибели Анны и дочери, закурил. С горя, конечно, но ведь в нарушение клятвы...

Петр Петрович подошел к письменному столу, достал из ящика свою старую, прокуренную на капитанских мостиках трубку, туго набил ее табаком и раскурил от газовой зажигалки, памятуя наказ заядлых курильщиков, что раскуривать трубку от серной спички или бензиновой зажигалки - все равно, что пить вино из грязного стакана. Самый чистый огонь - в древесном угольке из камина, но камина у Петра Петровича не было.

Открыв окно, чтобы проветрилась комната, Лукашевский оделся и спустился в аппаратную. Полудина на месте не оказалось. Лукашевский подергал дверь и, убедившись в том, что она заперта, заглянул в аккумуляторную. Полудин стоял в аккумуляторной и смотрел в потолок. Увидев Лукашевского, он жестом пригласил его войти и снова уставился в потолок. Лукашевский подошел к нему и тоже посмотрел вверх. Ничего не поняв, перевел недоуменный взгляд на Полудина и шепотом спросил, к чему он прислушивается. Полудин, тоже шепотом, ответил ему, что по крыше кто-то ходит.

Аккумуляторная была пристроена к аппаратной без какого-либо архитектурного расчета и представляла собой высокий куб с плоской, залитой асфальтом крышей. Существовал лишь один способ забраться на крышу - по стремянке. Но кому и зачем это могло понадобиться теперь, ночью? Какому-нибудь бродячему домушнику? Но с крыши аккумуляторной невозможно попасть ни на веранду, ни в дом Лукашевского, потому что и веранда, и дом примыкают к ней глухими высокими стенами. Можно, конечно, втащить на крышу все ту же стремянку и подняться по ней на крышу дома. Но и в этом не было никакого смысла. Для вора.

Шаги были не очень четкими, но по ритму - человеческими. Кто-то неторопливо прохаживался по крыше и слезать с нее, кажется, не собирался. Пять шагов в одну сторону, пять шагов - в другую. И так минута за минутой.

В конце концов Лукашевский и Полудин решили, что надо выйти во двор и посмотреть, кого занесло на крышу аккумуляторной. Так они и поступили, прихватив с собой фонарик и увесистый молоток.

На крыше никого не оказалось. Да и лестницу-стремянку они нашли на обычном месте - возле гаража. Оставалось лишь одно: предположить, что шаги им почудились...

... Утром Петр Петрович, как и намечал, уехал на базу. Мастер, руководивший строительством яхты, оказался болен - подвернул себе ногу. Поэтому не мог

провести Петра Петровича к стапелям, где стояла яхта. Сам же Петр Петрович пройти туда не мог - стапеля охранялись.

Поговорив с мастером и вручив ему деньги, Петр Петрович отправился к пограничникам, а точнее, к капитану Квасову, начальнику погранзаставы.

С капитаном Квасовым Лукашевский познакомился давно. Молодой и жизнерадостный Квасов нравился ему. Квасову хорошо служилось, хорошо жилось. Никаких ЧП на его участке не происходило. Обустроился он основательно, с комфортом. С ним были жена и дети. С начальством он ладил. Солдаты у него были хорошие, исправно вели хозяйство. И вся его застава считалась образцовой.

Но на этот раз Квасов показался Петру Петровичу не столь жизнерадостным. На его красивом лице лежала печать заботы и даже страдания. Вскоре все это объяснилось. Угощая Петра Петровича жареной свининой, он вдруг пожаловался, что с некоторых пор лишился аппетита, так как его приборы вот уже целый месяц ловят в секторе какую-то чертовщину: на экранах то и дело возникают геометрические фигуры, не поддающиеся идентификации, то есть объяснению треугольники, звезды, пересекающиеся прямые, пульсирующие окружности, прыгающие синусоиды... Да, он докладывал о них начальству; да, проверяли исправность приборов; да, обращались к ученым. Результат? - Никакого результата. Разумеется, кроме приказа повысить бдительность.

Лукашевский посочувствовал Квасову и предположил, что вся эта геометрическая свистопляска - следствие какого-нибудь природного явления, которое вскоре будет обнаружено и объяснено. А для пущей убедительности рассказал ему о том, как однажды в Атлантике, близ Канарских островов, увидел с мостика своего корабля второе солнце. В отличие от первого, настоящего, второе солнце было зеленым. Увидев его, он сказал тогда одной пассажирке, пришедшей на мостик, что дарит ей это удивительное солнце. "Но ведь его нет, ответила ему пассажирка. - Это всего лишь оптический феномен". И была права.

"Но пассажирка-то была настоящая? - развеселился Квасов. - Уверен, что настоящая и прехорошенькая!"

Домой Петр Петрович вернулся только под вечер - засиделся у Квасова. Полудин встретил его у ворот, сказал, что звонил Яковлев. И хотя Петр Петрович все еще злился на Яковлева за вчерашний телефонный разговор и мысленно обзывал его старым беззубым перцем, радикулитчиком-симулянтом, матерым застойщиком и ржавым аппаратчиком, решил все же позвонить ему.

"Ты зачем звонил, Сережа?" - спросил он Яковлева по телефону.

"Да так, - ответил Яковлев, - муторно что-то. Сейчас приеду. Тоска заела".

Яковлев приехал один, без шофера. "Запил подлец!", - сказал он о шофере. Был зол, фыркал носом, словно в ноздрю ему попал пух, метал по сторонам сердитые взгляды и басил что-то невнятное, то ли "а-га!", то ли "о-го!".

Лукашевский пригласил его к столу, на котором уже стоял ужин - яичница на сале и салат из соленых огурцов с луком.

Яковлев сел, но долго не мог устроиться на стуле. Вилку взял, как берут в руку кинжал, воткнул ее в столешницу и спросил, тяжело подняв глаза, почему Лукашевский до сих пор не рассказал ему о визите ночного гостя.

Лукашевский насторожился, подумал и ответил, что ни о каком таком визите не знает, впервые слышит и что, стало быть, не обязан отвечать на глупый вопрос.

Увы, этот ход оказался проигрышным: незнакомец, по утверждению Яковлева, был одет в халат Лукашевского. Такого халата, сказал Яковлев, нет ни у кого в районе, потому что он заморский с фирменной нашивкой на лацкане, на котором вышита фамилия фабриканта - "Якобсон". Яковлев никогда не обратил бы

внимание на такой пустяк, когда б не одно случайное совпадение: Яковсон и Яковлев это, в сущности, одна фамилия.

Петр Петрович, который тоже стал злиться - больше на самого себя, чем на Яковлева, - сказал, что все это Яковлеву померещилось. Тогда Яковлев попросил показать ему халат.

Если до этого Петр Петрович только увертывался от прямых ответов, то теперь просто соврал, рассказав Яковлеву тут же придуманную историю о том, как еще прошлым летом его махровый халат, выстиранный Александриной, висел во дворе на бельевой веревке и как он потом бесследно исчез. "Его попросту сперли "дикари", - сказал Петр Петрович и добавил, что ночной гость Яковлева, возможно, и был тем самым "дикарем".

Позже Лукашевский пожалел обо всем этом, потому что Яковлев не поверил ему - не таким он был простаком, чтобы поверить в плохо сочиненную ложь, опечалился, застучал пальцем по носу: друг упорно оставлял его один на один со странным и необъяснимым фактом. Незванный гость явился к нему за полночь, вошел в дом без стука и беспрепятственно, хотя - Яковлев хорошо это помнил наружная дверь была заперта. Яковлев, который к тому времени уже спал, вдруг проснулся и увидел, что посреди комнаты стоит незнакомый человек, держит в руке горящую свечу и удивленно озирается. Яковлев потянулся было к ружью, висевшему у него над кроватью, но незнакомец, заметив это, улыбнулся и остановил его жестом: "Я не вор, я гость - сказал он спокойно. - Кто-то снова позвал меня, но я ошибся домом".

Яковлев спросил у незнакомца, как он вошел в дом. "Как входит весть, ответил тот и сам спросил: - Зачем вы зовете меня?" Яковлев только плечами пожал: уж он-то его не звал. Незнакомец снова улыбнулся, покивал головой, дескать, конечно, конечно, попросил разрешения сесть. Долго молчал, сидя возле постели Яковлева, потом коснулся рукой его груди и сказал, что он может подняться с постели, так как болезнь его прошла.

"И болезнь действительно прошла! - закричал Яковлев в лицо Лукашевскому. А ты запираешься, как карманный вор!"

Спрашивать Яковлева о том, как закончился визит ночного гостя, не пришлось. Выдернув из столешницы вилку, Яковлев немного поел, выпил залпом кофе, затем испытующе посмотрел на Лукашевского и сказал что ночной гость, как ему теперь думается, был человеком - а может быть, и не человеком! - из другого мира. Основание для такого утверждения? Пожалуйста: он исчез, как и явился - сидел-сидел на стуле возле кровати, и вдруг его не стало. Яковлев лишь на мгновение отвлекся, куда-то посмотрел, кажется, на часы, а когда снова обратил взгляд к незнакомцу, его уже не было. Нигде. А вот его слова. Мог ли что-либо в этом роде сказать земной человек? Не мог. Перед самым исчезновением гость сказал, что не может быть богом безумцев, говорящих, что они наилучшие, ибо тот наихудший, кто мнит себя наилучшим. А вот сказанное им дословно: "Они призывают меня - и это ужасно: мне кровью истечь..."

"Все это тебе приснилось, - сказал Яковлеву Лукашевский, - ведь ты лежал в постели".

Яковлев помолчал и тихо сказал:

"Нет".

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Была зима, была весна, лето и осень, и вот снова - зима. Лед сковал прибрежные воды и уходит все дальше и дальше, к фарватерам. По унылому

ледяному простору гуляют метели. Только в редкие дни он кажется праздничным, когда сверкают над ним в лучах бедного солнца летучие ледяные кристаллы. Уже и луч маяка не достигает открытой воды, ударяется у дальнего горизонта в торосы и, отраженный, уходит к западным звездам. На скальных выступах - ледяные наросты, ниши и площадки забиты снегом, но в глубине Главного Грота еще плещется вода, а над колодцем в морозные дни колышется синий гриб тумана. Дорога в снежных переметах. К западу от курганов тянутся длинные сугробы, похожие на огромных белых гусениц. Каменные бабы напялили на головы причудливые тюрбаны, подола их снежных платьев легли на склоны роскошными шлейфами. Заметены балки - ни проехать, ни пройти. И лишь дорога, по приказу Яковлева, прорезана бульдозером, ныряет в балках в глубокие сумрачные каньоны. Для Лукашевского и Полудина теперь это дорога жизни.

Дороги на флотскую базу нет - рассечена заснеженными балками. Нет и телефонной связи. Лукашевский попытался однажды добраться до базы пешком, но пробился только до первой балки за южной долиной и вернулся: наст был тонкий, а снег глубокий - и он провалился в балке по самые плечи и выбирался ползком.

Трудно стало с бензином - бензоколонка в райцентре бездействовала. Три ночи маяк работал на аккумуляторах - порвались в степи провода электролинии. Лукашевский и Полудин сами лазили на столбы под обжигающим ветром, обморозили лица. Затем, напуганные случившимся, целую неделю возились с автономной электростанцией - перебирали поршневую систему двигателя. С трудом раздобыли бочку солярки - купили за свои деньги у одного жуликоватого тракториста. Думая о худшем, Лукашевский вспомнил о старой книге, найденной им в хламе, оставленном его предшественником. Это было описание устройства маяков доэлектрической эпохи. Изучив ее, понял, однако, что приспособить нынешний маяк для открытого огня ему не удастся. Да и что такое открытый огонь? Горящее масло, смола, нефть, газ. В тот день, когда исчезнет солярка, не станет и другого горючего - таков вообще подлый закон дефицита. Оставалось лишь надеяться, что такой день не наступит.

Зима обосновалась надолго. Морозы ослабевали лишь в снегопад, а в звездные ночи выхолаживали воздух до звона, до стеклянной прозрачности. В такую стынь начинаешь по-особому ценить дом - его тепло, уют. Заиндевшие оконные стекла искрились на ясных утренних зорях серебром и золотом, завораживали искусными узорами, фантастическими картинками зимнего леса, сказочной чащобы. Приятно было ходить по теплему деревянному полу в вязанных носках, пить горячий чай с вареньем. А еще хорошо было надымить в квартире жареной соленой капустой или подгоревшими сухарями - тогда вспоминались запахи родной деревенской избы, далекого детства. Припоминались то печь с расстеленным на ней старым овчинным тулупом, то кадка, пыхтящая хлебным тестом, то пробитый ковшом ледок в ведре, то негнущиеся, доходящие до бедер отцовские валенки, то материнские руки, которые все укутывают и укутывают тебя в пуховый платок...

За неделю до Нового года Лукашевский и Полудин отправились в райцентр, чтобы купить елочку. Поехали на машине Лукашевского, потому что ездить на Полудинской "Хонде" стало опасно - никакая теплая одежда не спасала от холода. Купили чахлую сосенку - ничего лучшего не нашлось, да и то не без помощи Яковлева: елок в свободной продаже не было, раздобыли ее на какой-то базе по записочке. На обратном пути заехали в райисполком, чтобы поблагодарить Яковлева за содействие, но увидели в его приемной толпу возбужденных людей ("Нигде ни черта нет!" - шумели посетители), потоптались в коридоре и уехали. Лукашевский сказал, что поблагодарит Яковлева по телефону. В тот же день



позвонил ему, но секретарша не соединила, так как Яковлев, по ее словам, проводил очень важное совещание. Позвонил вечером, после работы. Трубку взяла тетя Соня и сказала, что Яковлева вызвали в область. На вопрос, когда он вернется, ответила: "Завтра".

Петр Петрович видел, что и Полудин, и Александрина хотят сказать ему что-то важное, но почему-то все не решаются. Убедившись в этом окончательно, Петр Петрович сам спросил, что их мучает. Ответил Полудин. Его слова Петра Петровича не удивили: он давно ждал этого разговора, печального, но неизбежного. Павлуша подрос, ему пошел седьмой годок, а это означало, что для него нужна школа, что пришло время Александрине и Полудину всерьез подумать о перемене местожительства, а Петру Петровичу заняться поисками нового работника. Полудин сказал, что до весны они здесь еще проживут, но что место для себя он уже присмотрел, в райцентре, что там ему обещают не только работу, но и квартиру.

Утро выдалось метельное, холодное. Ветер шаркал жестким сыпучим снегом по обледенелым оконным стеклам. Всего на несколько минут проглянуло солнце, пробившись сквозь бесноватую метельную кутерьму, и снова навалился сумрак. Ревун, включенный Полудиным еще с ночи, захлебывался на шквалистом ветру.

Петр Петрович сделал зарядку на веранде, разогрелся до пота, до пара, с наслаждением принял душ, побрился, выпил кофе и, почувствовал себя вполне бодрым и свежим, сбегал по скрипучим ступенькам в аппаратную.

Вошел Полудин, отряхиваясь от снега. Спросил о самочувствии, пожаловался на ужасную погоду: "Задаст она нам жару, если снова лопнут провода". "Ничего, - сказал Петр Петрович: у него было хорошее настроение. - Перезимуем".

Вместе побывали в аккумуляторной - подзарядка шла нормально. Затем Петр Петрович пробежал пальцами по тумблерам радиостанции. Полудин сказал, что всю ночь эфир был спокоен. "Только одно небольшое происшествие, - добавил он, следя за тем, как Петр Петрович проверяет работу контрольных приборов. - Мне показалось, что ночью за воротами кто-то кричал".

Петр Петрович замер, потом посмотрел на Полудина и спросил, выходил ли он за ворота. Полудин кивнул. "И что?" - спросил Лукашевский. Полудин отрицательно покачал головой. "Показалось", - сказал он раздраженно.

Петр Петрович разозлился - если показалось, то мог бы и не говорить! - но промолчал, чтобы не увязать в бесполезной болтовне.

Когда Полудин ушел, Петр Петрович все же оделся потеплее и вышел за ворота. Ветер валил с ног, сек лицо. По горбам сугробов металась свистящие потоки снега. Из-за мыса вверх стреляла белой мутью. Борясь с ветром, Петр Петрович обошел вдоль стены усадьбу, никого не встретил, ничего не увидел. Да и что можно было увидеть в слепящей коловерти? Снег набился в рукава, под шапку, в валенки. Ветер и мороз выжимали из глаз слезы. Тепла под одеждой как не бывало. Лишь в одном месте, у стены, где не так дуло, Петр Петрович задержался на минуту и, прикрывая лицо руками, посмотрел в сторону степи. Такой свирепой метели в этих краях он не помнил. Все гудело и несло в неистовом шабаше. Ревун лишь добавлял к этой разгульной свистопляске свой отчаянный рык.

Вернувшись в дом, Петр Петрович долго отогревался чаем, набросив на плечи и на колени шерстяной плед. Потом переоделся в спортивный костюм, надел еще одни носки и, повалявшись немного на диване, приступил к задуманному. Старый холст не тронул, даже не подошел к шкафу, за которым он стоял. Снял с антресоли лист картона, некогда купленный в лавке художников в Афинах, отыскал там же багетную рамку, подогнал к ней картон, закрепил его гвоздями, затем разобрал краски, кисти, откупорил пузырек с растворителем, заточил

карандаш, устроился в кресле у окна и, держа рамку на коленях, принялся рисовать. Для начала сделал набросок карандашом. Прочертил контуры реки, берега, разбросал по яру избы, плетни, церковь, купы деревьев, навесил над ними облака, просек их косым лучом, который должен был осветить родительский дом и церковную маковку, выгнал на косогор лошадей, приткнул к берегу лодочки, а там, где река Стога уходила к горизонту, нарисовал крохотный кособокий парус. Под этим парусом Петр Петрович то ли возвращался в Застожье, то ли уходил от него - это было известно только ему одному...

Забыл Петр Петрович о маяке, о бушующей за окном метели, умолк для него ревун, исчезли стены, диван - все. Осталось только родное село на застоженском яру. Он прошлепал босиком по песчаной тропке, дошел до калитки, налег на нее грудью и она поддалась, впустив его во двор. По лебеде, к колодцу, к скрипучему вороту, к дубовой бадейке прошел, не торопясь, припал губами к холодной воде и долго пил ее, сладкую, по глотку, по капельке, как жизнь. Сидел на березовой колоде у дровяника - пахло сухой корой и сосновой смолой-живицей. Зарыл босые ноги в теплую древесную труху. Потом встал, поплевал на ладони и выдернул ржавый топор из обколотой сучковатой чурки... Стоял на крыльце, покачиваясь на поскрипывающих половицах. Дверь за спиной сама открылась и матушкин голос позвал его: "А вот тебе, сынок, оладьи поспели..."

Да не матушка это сказала - Александрина. Откинула край полотенца с тарелки, поставила ее на стол, пожалала плечами, дескать, извините за вторжение, и пропела: "А вот вам оладьи для угощенья..."

Александрина увидела рисунок и подошла к нему. Петр Петрович спросил, нравится ли ей его работа. "Это ваше родное село", - догадалась Александрина: он рассказывал ей о нем. "Да, - вздохнул Петр Петрович. - Да, да". Он был приятно удивлен тем, что Александрина узнала Застожье, что его давний и, надо думать, случайный рассказ о Застожье запомнился ей, запечатлелся в образе, который теперь совпал с тем, что он набросал карандашом на картоне. Такую память, подумалось ему, могло удержать только чувство. То, что проносится мимо любви и ненависти, для женщин как бы не существует. Тем более - слова. Но и эта мысль была грешной. Поэтому Петр Петрович отгнал ее, прогнал за порог и заперся в строгости и сдержанности. Он еще раз поблагодарил Александрина за гостинец - "Большое спасибо", - и пообещал, что поищет чем отдариться. Последние слова смутили Александрина: Петр Петрович дал ей повод сказать, наконец, то, ради чего она пришла, и на что никак не могла решиться. И вот теперь решилась: не надо ничем отдариваться, стоит лишь уважить просьбу ее мужа. Полудин уже с самого утра, рассказала Александрина, потянулся к бутылке, расклеился, занемог и пал духом: ему взбрело в голову, что Петр Петрович может - но не захочет! - продать ему свою машину. "Хочу! - стонал он, катаясь лбом по столу. - Машину хочу!"

Петр Петрович удивился, из-за чего такие страдания: он, конечно же, продаст Полудину машину - ведь в океан ее с собой не возьмешь. Оказалось, что просьба Полудина заключалась не только в том, чтобы Петр Петрович продал ему машину, но и в том, чтобы он уступил ему машину по госцене. Это и заставляло его страдать. Полудин знал, что машины на рынке нынче стоят бешеных денег и что деньги Петру Петровичу очень нужны. Кошелек же у Полудина был тощий и сберкнижка худая.

Словом, объяснила Александрина, краснея, если по-дружески, если в знак долгой совместной жизни и работы, по-родственному или еще как-нибудь, ну, скажем, на прощанье, на добрую память - если так, то Полудин купит машину и будет вечно благодарить Петра Петровича. И она, Александрина, тоже...

Петр Петрович подошел к Александрине, коснулся ладонью ее горячей щеки и сказал: "Конечно, мне же проще. Как он захочет". Опустил руку и отошел к окну.

Александрина, видимо, не сразу поняла, что произошло: какое-то время неподвижно и молча стояла у него за спиной. Затем тихо пошла к двери и уже оттуда спросила потерянным голосом: "Так вы согласны?" "Конечно", - ответил Петр Петрович, не оборачиваясь. Александрина еще сказала, что потом зайдет за тарелкой и ушла. Петр Петрович оглянулся лишь после того, как хлопнула дверь. И услышал всхлипывания.

Александрина стояла на веранде, прислонясь к стеклу лбом, и плакала. Петр Петрович взял ее за плечи, по, вернул к себе лицом и обнял. Александрина прильнула к нему и замерла. Так, обнявшись и почти не дыша, они простояли столько, сколько длится мысль о невозможности другого счастья перед первым и последним поцелуем.

Александрина ушла. Петр Петрович вернулся в дом, долго курил, затем сел в кресло, положил на колени картон и выдал на палитру краски: сначала белую для паруса и песка, затем зеленую - для косогора, голубую - для воды и неба, желтую - для света и церковной, маковки, коричневую - для бревенчатых изб, черную - для дальнего леса и куц на погосте.

Работа увлекла его и он вновь забыл об окружающем. Краски стекали с кисти, ложились на картон мазками, точками, линиями. Рождался иллюзорный мир из памяти, из забытых и воскресших ощущений - эманация сердца и мозга. И когда б эта сила могла воссоздавать реальные вещи, восстало бы его родное Застожье из небытия: затянулся бы песком и землей карьер, взошла бы трава, улеглись бы в прочные срубы тяжелые бревна, обросли тесом, резными наличниками, заплясали бы на оконных стеклах солнечные блики, и над утренними туманами, над печными дымами, над влажными от росы лугами поплыл бы благовест. Вот тогда Петр Петрович вошел бы в свою избу и обнял бы заждавшихся его стариков-родителей.

Он повесил картину на стену, под портретами своих девочек, и долго глядел на нее, отодвинувшись с креслом к противоположной стене.

Метель улеглась только ночью. Небо так вызвездило, будто кто-то плеснул ртуть на решетку. Петр Петрович поднялся на маяк, обмел и протер стекла, потом стоял на балкончике в темном секторе, дыша в рукавицы, и смотрел, как играют звезды.

Петр Петрович спустился с башни, пересек двор, торопясь к теплу, и как раз успел к телефонному звонку, Звонил Яковлев. Сказал, что только что вернулся из города, с совещания, узнал от тети Сони о звонке Лукашевского и вот теперь звонит сам. Спросил, не случилось ли чего. Лукашевский успокоил его: ничего не случилось, просто хотел поблагодарить за сосенку. Упоминание о сосенке пришлось как нельзя кстати: Яковлев сказал, что встречать Новый год придет к Лукашевскому. Петр Петрович обрадовался такому повороту дела - это избавляло его от необходимости идти к Полудиным, где он чувствовал бы себя теперь не в своей тарелке. Напомнил Яковлеву о плохой дороге, о том, что ее снова замело, на что Яковлев ответил: "Ничего, пошлю трактор". И уже просто так, для продолжения разговора, спросил у Яковлева, чему было посвящено совещание, на которое он ездил. "А ничему, - ответил Яковлев. - Просто пообщались".

... Праздновать начали у Полудиных по той простой причине, что там была настоящая елка, а не нарисованная, как у Петра Петровича, и лишь после полуночи, когда уснул Павлуша, перебрались в дом. Лукашевского. И хотя их было только четверо, хватило и песен, и танцев, и разговоров. Больше всех приходилось танцевать и петь Александрине, потому что все мужчины хотели танцевать только с ней, и слова песен помнила только она.

Полудины ушли только в третьем часу. Прощаясь, Лукашевский и Яковлев целовались с ними, особенно с Александриной, из-за чего разразился скандал, потому что Полудина обуяла вдруг пьяная ревность, и он толкнул Яковлева в грудь, а Яковлев ответил ему оплеухой. Лукашевскому и Александрине пришлось их мирить: заставили выпить на брудершафт и просить друг у друга прощения.

После ухода Полудиных Лукашевский и Яковлев заскучали: есть и пить уже не хотелось, оба выговорились, притомились, обоих клонило в сон. Петр Петрович уже доставал из шкафа постельное белье, когда на веранде хлопнула дверь и послышались чьи-то шаги. Лукашевский и Яковлев ожидали увидеть либо Полудина, либо Александрину, но шаги замерли у самой двери и стало тихо. Петр Петрович и Яковлев недоуменно переглянулись. Лукашевский на цыпочках подошел к двери и прислушался. Ничего не услышал, развел руками, спросил у Яковлева, что делать. Яковлев пожал плечами и тоже подошел к двери. Она не была заперта. И тому, кто был за нею, стоило лишь чуть дернуть ее, чтоб она отворилась. "Полудин, - едва слышным шепотом предположил Яковлев. - Опять пришел драться". Лукашевский протянул руку к замку и нажал на кнопку защелки. Защелка громко клацнула. Тишина стала еще напряженнее.

Шаги они слышали, оба. Они не могли им почудиться. Да и дверь на веранде хлопнула достаточно громко перед тем, как послышались шаги. Человек поднялся на веранду не через аппаратную, а со двора, по железной лестнице. Как в тот раз. Впрочем, так же могла подняться на веранду и Александрина, если почему-либо не захотела (или не посмела) взять ключ от аппаратной у Полудина. Но что могло привести ее сюда? И стала ли бы она молчать? Особенно теперь, когда Лукашевский запер дверь на защелку, чего она не могла не слышать, стоя за дверью - щелчок был довольно громким.

"Спроси, - все так же шепотом предложил Лукашевскому Яковлев. - Спроси, кто там".

Лукашевский прижал палец к губам и жестом приказал Яковлеву отойти от двери.

Они оба уже сидели на диване, когда дверь кто-то тихонько дернул. Второй рывок был более сильным. А после третьего сорвался замок и дверь с грохотом распахнулась. Лукашевский и Яковлев вскочили на ноги. Лукашевский бросился за оружием - пистолет он хранил за книгами на стеллаже. Яковлев схватил за ножки стул и поднял его над собой. Но в дверь никто не вошел. И на веранде - она была хорошо освещена - никого не оказалось. Никого не нашли они и в аппаратной. Наружная дверь аппаратной, как и дверь, ведущая, с железной лестницы на веранду, оказалась запертой. Лукашевский и Яковлев прошлись по двору, постучались к Полудиным. Чтобы объяснить им свое нелепое появление, попросили бутылку вина. Полудин стал приглашать их в дом, но они отказались и вернулись домой. С бутылкой вина. Тут же раскупорили ее и выпили по стакану, чтобы хоть как-то успокоиться и прийти в себя. Сломанный дверной замок, сорвать который с двери мог только очень сильный человек, да и все остальное заставляло их думать о странном.

"Так что? - спросил Лукашевского Яковлев, отодвинув от себя опорожненный стакан. - Это был он?"

Такой же вопрос мог бы задать Яковлеву и Лукашевский. Петр Петрович снова налил в стаканы вина и, когда они выпили, сказал, отвечая на вопрос Яковлева: "Это был он".

Покурив, оба решили, что пора ложиться спать. Во-первых, потому, что оба они изрядно устали и не могут придумать ничего разумного, а во-вторых, потому, что утро вечера мудренее.

Лукашевский постелил Яковлеву на диване, себе - на раскладушке. Велел Яковлеву лечь, а сам отправился в аппаратную - еще раз взглянуть на показания приборов и послушать эфир.

Свет погас, когда Петр Петрович спустил ногу с последней ступеньки лестницы. Петр Петрович сделал два шага назад и замер, вынув из кармана пистолет. Хотелось думать, что случилось обыкновенное - обесточилась линия - и что через несколько секунд автоматически, как это и было предусмотрено, включатся в маячную сеть аккумуляторы. Но прошла, кажется, целая минута и ничего такого не произошло, на пульте управления не вспыхнул ни один огонек. Это означало, что случилась авария. Авария на линии и авария здесь. Лукашевский мог бы в полной темноте пройти через аппаратную к аккумуляторам, найти там аварийный рубильник и переключить его на нужный режим, но что-то мешало ему это сделать - то же, что заставило его взять с собой пистолет, о существовании которого он почти забыл. Следовало, однако, поторопиться: маяк, погасший даже на минуту, мог принести несчастье тем, кто в море. Лукашевский поднялся на веранду, взял электрический фонарь и снова спустился в аппаратную. Пульт по-прежнему был мертв. Не удалось включить и радиостанцию. Лукашевский прошел в аккумуляторную. Осветил углы, стеллажи, верстак, остановил луч фонаря на красном рубильнике, протянул к нему руку и переключил на аварийный режим. В ту же секунду вспыхнули лампы освещения, застонал трансформатор и из аппаратной послышался ритмичный звук зуммера. Петр Петрович облегченно вздохнул и вернулся в аппаратную. Теперь надо было звонить на подстанцию и выяснить, что случилось на линии. Подстанция ответила, что на линии разрыв проводов из-за сильного мороза. Петр Петрович круто ругнулся: ответ подстанции означал, что уже завтра ему и Полудину придется выйти на линию и искать разрыв... А непролазный снег, а мороз, а обледеневшие столбы и провода?!

Петр Петрович решил, что сегодня же напишет в свое управление заявление о том, что в мае - это через четыре месяца, через сто двадцать дней, через две тысячи восемьсот восемьдесят часов - он уйдет с осточертевшего ему маяка...

Лукашевский вспомнил, что не поздравил с Новым годом капитана Квасова. Взглянул на часы - было уже четыре. Решил, что капитан еще пирует и позвонил ему. Квасов обрадовался звонку, пожелал Петру Петровичу горы счастья, пригласил в гости, похвастался винами и закусками, веселой компанией. Лукашевский спросил, есть ли у него свет. Оказалось, что света нет и на заставе, что сидят они там, как и Лукашевский, на автономном питании. "Конец света! - смеясь, каламбурил веселый капитан. - Слышишь? Конец света!"

Яковлев безмятежно спал - не зря они сходили к Полудиным за вином, похрапывал. Петр Петрович поправил на нем одеяло, погасил настольную лампу электроэнергию надо было теперь экономить, беречь для маяка - и вышел из спальни, прикрыв за собою дверь.

Спал он недолго, часа полтора. Проснувшись, сразу же спустился в аппаратную. Маяк работал, контрольные приборы показывали норму, но линия, как и прежде, бездействовала. До рассвета, оставалось часа два. Можно было бы еще поспать, но Петр Петрович лечь не стал. Побрился, принял душ, убрал раскладушку, сварил себе кофе и устроился с чашечкой в кресле у торшера. Садясь, приподнял колпак торшера - так, что бы свет падал на противоположную стену, на "Застожье". Сначала ему показалось, что свет слишком слаб и что только поэтому он плохо видит картину. Свет и на самом деле был слабее, чем обычно, ведь работала не линия, а аккумуляторы. Но дело оказалось все-таки не в этом: Петр Петрович видел совершенно другую картину. На ней не было Застожья. Была только речка Стога и берег, изуродованный огромным каменным

карьером. Петр Петрович встал и подошел к картине. Да, все так и было: вместо Застожья - карьер. Карьер был выписан грубо и поспешно, не кистями, а пальцами. Следы от измазанных краской пальцев остались на раме и на стене. Чуть позже Петр Петрович обнаружил следы краски и на дверных ручках в аппаратной и на веранде.

Лукашевский снял картину, соскреб со стены пятна. Завернув картину в газету, сунул ее под стол. Затем протер тряпкой дверные ручки, смел с письменного стола известковую пыль и, закурив, вернулся к креслу, к недопитому кофе.

Свет коснулся его опущенных век и он открыл глаза. Выходило солнце, пронизывая лучами воздушную кисею искрящихся льдинок, катилось нежно-алым светом по спинам сугробов. До горизонта, до курганов, вся пылающая степь была исчерчена синими полосами теней, а дальше, за курганами, поднимался в небо жемчужным веером высокий огонь - первый день нового года.

Петр Петрович спустился к пульту и выключил маяк.

Об аварии на линии Лукашевский рассказал Яковлеву за завтраком. Стал жаловаться на судьбу: как теперь по таким сугробам и по такому холоду добраться до места разрыва и как выйти из положения, если разрыв устранить не удастся - ведь всей аккумуляторной батареи хватит только на три ночи. Потом придется запускать электростанцию, но горючего для нее мало, всего одна бочка.

Петр Петрович, помня о старом уговоре с Яковлевым - "Не канючить!" - не стал бы затевать с ним этот разговор, когда б не странный ответ, который он получил по радио, связавшись со своим управлением. "Не до вас, справляйтесь сами", - радиовали ему из управления. Петр Петрович попросил повторить ответ. На этот раз ему ответили еще грубее: "Сказано же, не до вас! Не лезьте хоть вы со своими проблемами! Справляйтесь сами или катитесь к черту!"

Тогда Петр Петрович попросил у Яковлева трактор, людей, горючее. Не для себя попросил: жизнь маяка - это жизнь моряка. Яковлев нахмурился, постучал пальцем по носу и вдруг сказал, отворачивая глаза, что ответ управления ему вполне понятен и что он ответил бы точно так же, потому что - положение таково, когда всех просителей приходится посылать к черту: товаров нет, горючее на исходе, кончается уголь, люди разбегаются, все рушится, хоть караул кричи. "Государство гибнет, - сказал Яковлев чужим голосом, - А ты тут со своим маяком!"

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Словно вспомнив о чем-то, Лукашевский подошел к шкафу и вынул из-за него натянутый на подрамник холст - "Вид на пирамиду Хеопс из тени пирамиды Хеф". Картина была исполнена с той тщательностью, на какую у него никогда не хватало терпения. Краски были тонко растерты, как на полотнах старых художников, переходили одна в другую полутонами, воздушно, отражаясь друг в друге бликами и тенями; холодные, горячие, они несли в себе пространство, свет и пыль, обнимали дымчатое небо и палящую пустыню, сводили их в горизонт, изломанный гигантской глыбой пирамиды Хеопса, упирающейся вершиной в зенит и вросшей тяжким основанием в каменное плато, засиненное с юга конусом тени пирамиды Хефрена. Всадник на буром двугорбом верблюде смотрел из тени на каменные уступы освещенных невидимым солнцем граней пирамиды великого фараона и мертвая тишина пустыни обступала его.

Картина была покрыта лаком, и пальцы Петра Петровича скользили по ней, как по стеклу, хотя ожидали, кажется, ощутить шершавость и упругость горячих камней.

Почему пирамиды возведены в пустыне, на прокаленном солнцем плато? Ведь если бы в оазисе, среди зелени и цветов, в окружении фонтанов, где жизнь буйствует в многообразии и многоцветии, то разве не больше оставалось бы надежды и душевной жажды возвратиться в этот мир из темного каменного лабиринта? В пустыне же - безлюдье и безмолвие. Разве что караван пройдет или ветер ударит по камням свистящим песком. Значит, не в этот мир должна была привести фараонов дорога надежды. От этого мира они отгораживались пустыней и каменным панцирем пирамид, от мира тления - тем, что менее всего тленно и переменчиво: пустыней и камнями. Без единой мысли о возвращении, о повторном обольщении жизнью. В сооружении пирамиды много страха и мало надежды: страх движет теми, кто таскает камни, страх перед жестокой властью фараона; страх движет фараоном: лечь мертвым в землю без гробницы - не воскреснуть, лечь в малую гробницу - быть ограбленным и забытым, лечь в великую гробницу - всегда быть на глазах у неблагодарных и жадных людей... Быть в мире живым - трудно, оставаться в нем мертвым - страшно. И вот надежда: уйти безвозвратно в поля Озириса, успеть до ограбления и поругания умчаться в вечность, о которой больше знают песок и камни, чем люди. Вечны тьма, тишина и покой. Они - в пирамиде, за толщей и тяжестью гранитных блоков.

И все-таки это была его работа - его холст, его краски, его угольный набросок под красками... И главное - он уже видел ее, хранил в своем воображении и переносил на холст. Кто еще здесь и теперь мог бы стать источником этого, улегшегося на холст света? Один лишь он, Петр Петрович Лукашевский...

"И я", - слышал Петр Петрович за спиной знакомый голос Гостя. Обернулся и увидел его. Гость стоял в двух шагах от Петра Петровича - босой, озябший, с пропыленными снегом всклокоченными волосами.

"Ох! - вздохнул Петр Петрович. - Опять... Не надоело? И давай я тебя одену по-человечески: дам пальто, ботинки, шапку... Сколько можно бегать в халате, босиком? Ведь ты не чокнутый? Не торопись исчезать сейчас я тебе все принесу".

Пока Лукашевский собирал одежду, Гость стоял перед картиной и молча рассматривал ее. Затем Петр Петрович предложил Гостю помыться, помог перевязать раны. Одел его, как одевался сам - просто поделился своей одеждой. И когда Гость уже сидел за столом и пил чай, Петр Петрович, оглядев его, подумал, что отныне в нем нет ничего странного - человек как человек, в костюме, в ботинках, немного усталый, с забинтованными руками... Разве что волосы слишком длинные, до плеч, да борода давно не знала ножниц парикмахера.

"Зачем тебе пирамида Хеопса? - спросил Гость. - Что ты ищешь в ней, Петр?"

"Вопрос поставлен неверно, - ответил Петр Петрович. - Я ничего не ищу в пирамиде Хеопса... в себе", - произнес он медленно, впервые, кажется, осознавая, что это именно так, что в себе он искал и нашел ее и что она прежде всего существует в нем.

"Ты хорошо ответил, - улыбнулся Гость. - Все, что создал человек, он создал из себя. Познавая себя. Пирамида Хеопса - это, конечно, гробница великого фараона, но сначала - власть и сила. Побороть смерть властью и силой, осознать себя как всеильную власть и всевластную силу перед лицом вечности вот что значит воздвигнуть пирамиду. Пирамида - воплощение души грубого человека. Ты искал в себе пирамиду и, значит, веру в силу и власть, унаследованную от предков. И что ты нашел, Петр? Пустую пирамиду в пустыне. Ты смотрел на пирамиду одного фараона из тени пирамиды другого и понял, что камень и тень камня - одно..."

"Что ты хочешь этим сказать?" - спросил Петр Петрович, боясь, что замолчавший на слове "одно" Гость не заговорит снова, потеряет мысль или внезапно уйдет, как в прошлый раз.

"Только то, что сказал: прохлада - это тень горячего камня, бессилие тень силы, бессмертие - тень смерти. Только это, - ответил Гость. - Но ты и сам это знаешь, потому что ты сам это нашел".

"Ты, кажется, изменился, - заметил Гостю Петр Петрович, когда они перешли из кухни в комнату. - При первой встрече ты показался мне моложе. А теперь я вижу у тебя седину в волосах".

"Седина от тебя, - улыбнулся Гость. - От тебя одежда, от тебя и седина". Он остановился возле письменного стола, всмотрелся в "Застожье", потом поднял взгляд на портреты Анны и Марии.

Петр Петрович набил табаком трубку и закурил.

"Жена и дочь, - сказал он Гостю о портретах. - Обе погибли в авиакатастрофе".

"Я знаю, - не оборачиваясь, ответил Гость. - Это Анна и Мария. А пейзаж твое родное село Застожье, которого нет. Не спрашивай, почему я это знаю. Не торопись. Позже ты сам все поймешь".

"Ладно, - согласился Лукашевский, хотя на языке у него вертелся именно этот вопрос. - Посидим".

Гость сел в предложенное ему кресло, Петр Петрович устроился с трубкой на подоконнике, возле приоткрытой форточки.

"Хочу дать тебе один совет, - сказал он Гостю, выпуская дым в форточку. Когда выходишь из грота, не карабкайся по стене. Стоит пройти метров пятьсот к северу, и ты найдешь низкий берег".

"Спасибо, - ответил Гость. - Я это знаю".

"Какого же дьявола ты продолжаешь подниматься по стене, обдирая руки и ноги?" - возмутился Петр Петрович.

"Больше не буду, - пообещал Гость. - Ты сказал - и я не буду".

"А сам сообразить не мог?"

"Сам? Кто?"

Глаза их встретились. Лукашевскому на миг показалось, будто он видит самого себя сидящим с трубкой на подоконнике, будто взглянул на себя из кресла, в котором был Гость.

"А как же ты исчезаешь? - спросил Гостя Петр Петрович. - Ты рассказал мне, как появляешься. Это мне понятно - вдруг просыпаешься в гроте... А как исчезаешь?"

"Когда бросаюсь с обрыва, - ответил Гость и встал. - В тот самый миг".

"Но кто тебя туда толкает?"

"Ты", - сказал Гость.

Петр Петрович хотел возразить, возмутиться, но не успел: едва он открыл рот, чтобы произнести первое слово, Гость, словно испугавшись чего-то, метнулся к вешалке, сорвал с нее предназначенное для него пальто, шапку, и, не одеваясь, бросился к двери.

"Ненормальный!" - крикнул ему вслед Петр Петрович. Дверь за Гостем захлопнулась. Петр Петрович поспел погасшей трубкой, выбил пепел за форточку и сказал самому себе: "Ты тоже ненормальный".

Лукашевский знал, что в аппаратной дежурит Полудин, и, значит, мог бы теперь же спуститься к нему и спросить, видел ли он Гостя. Но не сделал этого по двум причинам: во-первых, не хотел встречаться с Полудиным, а во-вторых, вопрос о том, видел или не видел Полудин Гостя, Лукашевского больше не волновал, потому что Полудин и все другие могли соприкоснуться с Гостем лишь



внешне - пришел человек, ушел человек - что в этом особенного? Тайна же принадлежала только ему, Лукашевскому: Гость - это тень Хозяина...

Там же, за шкафом, где прежде стоял холст, находилась и приготовленная для него рама с потемневшей уже бронзовой пластинкой, на которой Петр Петрович выгравировал название картины: "Вид на пирамиду. Хеопс из тени пирамиды Хеф". Вынув из-за шкафа раму, он вставил в нее полотно, закрепил его гвоздями, натянул между боковыми планками веревку и повесил картину на стену - слева от двери, ведущей на веранду. Стена была пустая, хорошо освещалась днем из окна. Еще одно обстоятельство определило выбор Петра Петровича: он будет видеть картину, выходя из дому, уходить в ее пространство, а не приходить, как было бы, когда б он повесил ее на другую стену. Это было важно само по себе уходить в пустыню, к пирамиде Хеопса, возвращаться в Застожье, в милый уют.

Утром Петру Петровичу позвонил Яковлев и, не дав ответить на свое "Доброе утро!", сказал, что знает теперь, кто такой ночной гость. "Это сумасшедший режиссер! Представляешь?! - кричал от в трубку. - Мы-то думали, что он оттуда... А он - просто сумасшедший режиссер! Свихнулся на своем фильме, который собирался снимать здесь, в наших краях. И вот теперь бродит тут, пугает людей и несет всякую чепуху".

"А где живет?" - успел спросить Петр Петрович.

"Еще не выяснил. Поручу своей милиции, - сказал Яковлев. - Она быстро найдет его логово".

Из рассказа Яковлева Лукашевский узнал еще и то, что фильм, из-за которого якобы свихнулся его режиссер, должен был называться "Вечная война" и повествовать о кровавой истории нескольких племен и народов - тавров, скифов, киммерийцев, сарматов, готов, которых судьба некогда столкнула на этом земном перекрестке, о чем-де рассказывал сам режиссер людям, которых вербовал на съемки.

"Представь себе, нашлись желающие! - хохотал в трубку Яковлев. - У нас в райцентре уже созданы два клуба - скифов и сарматов. Изучают историю и способы ведения войны. Сейчас идет запись в клуб готов. Не хочешь ли записаться?"

То, что ночной гость и режиссер - одно лицо, Яковлев решил сам, хотя не видел Гостя в качестве Режиссера. Оснований для такого утверждения было мало лишь некоторые описания внешности Режиссера наводили Яковлева на мысль о его сходстве с Ночным Гостем: он предстал перед видевыми его людьми в некотором подобии халата, у него были забинтованы руки, а ноги обмотаны тряпьем.

"Но если это только режиссер, и, стало быть, простой смертный человек, хотя и сумасшедший, то как же он мог появиться перед нами столь загадочным образом? - усомнился в выводах Яковлева Петр Петрович. - И почему он нас не вербовал на съемки своего фильма?"

"Видно, мы не годимся в артисты, - отделался шуткой Яковлев. - А с помощью отмычки, да будет тебе известно, открываются не только дверные замки, но и банковские сейфы!"

История о Сумасшедшем Режиссере была вполне в духе времени. О свихнувшихся политиках, ученых, писателях, военных, партийных лидерах в тот год часто писали газеты - таково было энергетическое влияние ближнего космоса. В тот год всем казалось, что вот-вот удастся поймать инопланетян и даже то, что они уже свободно живут между людьми. И если Яковлев соединил в одном лице сумасшедшего и явившегося оттуда - то это тоже было в духе времени.

Яковлев сообщил Петру Петровичу также о том, что расчищена дорога от райцентра до флотской базы. Поездка на базу через райцентр удлиняла путь кило,

метров на шестьдесят-семьдесят. Поэтому в хорошую погоду Петр Петрович пользовался прямой дорогой. Теперь же он обрадовался и тому, что сообщил Яковлев - давно уже пора было навестить "Анну-Марию" и отвезти мастеру очередной взнос. Петр Петрович решил, что мешкать с поездкой на базу нельзя: ведь со дня на день снова могла разыгаться вьюга и замести дорогу, а там жди, когда ее расчистят снова. Словом, надо было ехать немедленно.

Лукашевский быстро собрался, залил в бак машины оставшуюся канистру бензина, весь запас, подкачал скаты, прогрел в гараже мотор и отправился в путь. О том, что уезжает на базу, сказал Полудину раньше, велел ему с обеда запустить электростанцию для подзарядки аккумуляторов и включить вечером маяк, если он к тому времени не успеет вернуться.

Въезд на территорию бензоколонки был перегорожен веревкой, на которой трепыхались красные лоскутки. Это хотя и огорчило Лукашевского, но не очень у него оставалось еще две возможности заправить машину: у ремонтников на базе или у Квасова на погранзаставе.

Остановился у райисполкома с намерением заглянуть к Яковлеву. Поднялся на второй этаж, в приемную. Секретарша, которая давно знала Петра Петровича, в кабинет его все же не впустила: у Яковлева, как всегда, было совещание.

"О чем и с кем он совещается?" - поинтересовался Лукашевский.

"С какими-то дикарями, - шепотом ответила секретарша, сделав при этом большие глаза. - Пришли все в кожаных штанах, с мечами и луками, в малахаях. И говорят не по-нашему - все гыр-гыр, гыр-гыр. Бороды поотпускали. Но веселые, добавила она, облегченно вздохнув. - Вроде все-таки как наши люди, но только переодетые. У меня тут записано в журнале, - заглянула она в толстый гроссбух. - Ага вот, - и прочла: - Клуб скифов. Значит, самодеятельность, - объяснила она Петру Петровичу. - Но мечи и стрелы - как настоящие".

Лукашевский не стал дожидаться конца совещания, которое могло продлиться и час и два, поцеловал руку секретарше и, пообещав заглянуть на обратном пути, вышел из приемной. Спускаясь по лестнице, столкнулся с группой людей, идущих навстречу. Их было человек двадцать, мужчины и женщины. Передние, прижав Петра Петровича к стене, пронесли мимо него наклеенный на фанеру плакат: "Долой пришлых скифов! Киммерия - для киммерийцев!" У мужчин на поясах болтались тяжелые мечи, женщины были с луками, как амазонки. От людей пахло дубленой овчиной, табаком и винным перегаром. Нетрудно было догадаться, что вслед за делегацией Клуба скифов на прием к Яковлеву пожаловали и представители Клуба киммерийцев, организации, созданной, если верить самому Яковлеву, Сумасшедшим Режиссером для съемок фильма "Вечная война".

Петр Петрович прошел в толчее лишний марш и вышел не на парадное исполкомовское крыльцо, а во двор - к гаражам и туалету. Во дворе, привязанные к деревьям, стояли оседланные лошади.

"Это чьи? - спросил он у коновода, бородатого юноши в длиннополом тулупе и мохнатой шапке-ушанке. - Скифские или киммерийские?"

"Проваливай, инородец! - ответил ему коновод. - Много вас тут шляется, любопытных!"

Лукашевский предпочел промолчать и отправился за угол, где стояла его машина.

Дорога до флотской базы была не из легких: дважды Лукашевского заносило, бросало в снежные отвалы, хотя он и плелся почти по-черепашьи, с трудом одолел подъем из балки перед самой базой, думал, что придется вернуться. И вернулся бы, когда б хватило бензина хотя бы до райцентра. Поднялся все-таки, исковыряв лопатой скользкий подъем - трудился битых два часа, семь потов

спустил, охрип от ругани, проклиная дорогу и машину. Зато потом отошел душой, ощутил праздник, когда мастер привел его на стапеля к яхте. "Анна-Мария" уже, по словам мастера, вполне смотрелась. Да что там смотрелась! Она была уже красавицей. Ее длинное и сильное тело волновало Петра Петровича, старого морского волка. Кубрик показался ему уютнее дома, а палуба так и приморозила к себе подошвы его башмаков, словно не хотела отпускать. Втайне от мастера Лукашевский нежно погладил мачту и прижался к ней на мгновение щекой. Он уже любил ее.

"В марте-апреле можно будет спустить на воду, - пообещал Лукашевскому мастер. - Готовьтесь к окончательному расчету".

При этих словах у Лукашевского сладко дрогнуло сердце.

На базе заправиться не удалось. Оставалась надежда лишь на Квасова. И Петр Петрович, закончив дела с мастером, сразу же отправится на погранзаставу.

Квасов, как всегда, встретил его радушно, сразу же усадил за стол угощать. И угощал щедро: и копчениями, и соленьями, и вареньями. Ординарцу велел залить полный бак бензина, а жене - приготовить для Петра Петровича "посылочку", собрать всякого рода продукты - из тех же копченостей, солений и варений. Он был в прекрасном расположении духа, хвастался своими успехами - на "отлично" сдал очередную академическую сессию - пересказывал старые анекдоты и сам же весело хохотал. Петр Петрович не сразу решился спросить его про геометрические фигуры на экранах радаров, а когда спросил, пожалел: хорошее настроение Квасова мгновенно улетучилось.

"Есть фигуры, есть, - сказал он, поскуцнев. - Никуда не денешься. Но теперь они всем до лампочки, никого не интересуют. Да я о них уже и не докладываю, потому что на других заставах то же самое - крестики-нолики. Мы теперь их так называем. Один мой солдат так задумался над этими крестиками-ноликами, что у него крыша поехала, комиссовали, отправили к маме. Я и сам иногда до того довожу себя этими крестиками-ноликами, - признался Квасов, когда его жена вышла на кухню, - до того взвинчиваю, что страшно становится. Нет, лучше про это не думать. И не говорить! - решительно сказал Квасов. - Пусть об этом лошади думают, у них головы большие... Кстати о лошадях, - снова насупился Квасов. - Ничего не замечали?"

"Что именно?" - спросил Петр Петрович.

"Какие-то конники по окрестностям шастают, целыми эскадронами. Я сам, правда, не видел, но люди говорят. Один мой солдат тоже видел, в приборе ночного видения. Мчались куда-то прямо-таки лавиной. Я интересовался кто такие, у местных жителей спрашивал. Одни говорят, что готы, другие - что тавры. Чепуха, конечно. Какие теперь готы, какие тавры? Тысячу лет их никто не видел. Пацаны, наверное. Воруя в колхозах лошадей и носятся, как ошалелые, по степям. Но тоже беспокойно: вдруг налетят на заставу, за оружием? В других краях такое уже случилось".

Петр Петрович рассказал Квасову про "скифов" и "киммерийцев", нагрянувших к Яковлеву, про их конные клубы.

"А! - закричал радостно Квасов. - Значит, кино! Слышишь, Катя? - позвал он жену. - Все эти конники - проделки киношников. Кино будут снимать. Как я раньше не додумался? А ты боялась налета, - обнял он жену. - Но это всего лишь киношники!"

На обратном пути Лукашевский снова не попал к Яковлеву: теперь его самого вызвали на совещание в областной центр.

"Очень важное какое-то совещание, - сказала Петру Петровичу секретарша. Очень важное! Какой-то район, говорят, отделился и объявил себя независимым государством. Спятили там все, наверное. Не иначе".

Лукашевский вернулся домой затемно. Ворота ему открыла Александрина. Спросила, когда он вышел из машины: "Все дела сделали?"

"Да, слава Богу, - ответил Петр Петрович. - А что здесь? Живем без новостей?"

"Что-то случилось с двигателем электростанции, - ответила Александрина. Заглох и не заводится. Полудин с ним возится. Злой, как собака. Запустил в меня гаечным ключом. Хорошо, что промахнулся".

"Давно возится?"

"С обеда. А тут еще какие-то конники проскакивали мимо. Стреляли из луков по маяку. Хулиганы! Полудин палил по ним с башни из ружья. Осатанел совсем".

Петр Петрович поставил машину в гараж, и, не заходя в дом, отправился к Полудину.

Мрачный Полудин сидел на корточках перед разобранным двигателем и курил. Рядом с ним на полу лежало ружье.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Март начался с буйной оттепели: пришел циклон со Средиземноморья и в три дня растопил снега. По балкам к морю ринулись потоки мутной талой воды. Затрещал и заскрежетал лед у берегов. А накануне женского праздника хлынул теплый дождь, лил целые сутки и довершил спор весны с зимою: каменистая степь стала серой, а разбушевавшееся море изломало льды и погнало их, закружило белыми стаями по черному неуютному простору.

Вода размывала дороги - в балках и на склонах образовались глубокие промоины, непроходимые для машины. Полудин с трудом перетаскивал через них свою "Хонду" и говорил, что легче ходить в райцентр пешком, чем ездить на мотоцикле. Именно в эти дни у него появилось желание купить себе лошадь. Петр Петрович чуть ли не ежедневно звонил Яковлеву и умолял его выслать бульдозер, который зарыл бы промоины на дорогах. Настойчивость его объяснялась не только тем, что ему очень нужно было в райцентр по своим личным делам - купить того-сего. Кончалась солярка. По расчетам Петра Петровича, оставшегося горючего могло хватить дней на пять, не больше. Электролиния же по-прежнему бездействовала. И, значит, через пять дней впервые за всю историю своего существования маяк мог погаснуть. Таким образом, дорога нужна была прежде всего для того, чтобы привезти горючее. Хотя Петр Петрович не знал, где же он его раздобудет. Яковлев, во всяком случае, помочь ему в этом не обещался. Да и с бульдозером для ремонта дороги у него что-то не получалось - не мог найти бульдозериста. Погода тем временем немного наладилась, схлынули потоки, можно было выходить на линию, чтобы заняться ее ремонтом. Но тут появилась другая трудность: если зимой Лукашевский и Полудин могли везти все необходимое для ремонта линии на санях, то теперь им предстояло тащить этот груз на себе. Полудин заявил, что уволится в ту же секунду, как только Лукашевский прикажет выходить на линию. Тогда Петр Петрович прибег к последнему средству - сказал, что не продаст Полудину машину ни за какие деньги, если тот не выйдет с ним на линию. Полудин ослабил и сказал, что Петр Петрович может съесть свою машину хоть с хреном, хоть с редькой, поскольку ему, Полудину, машина больше не нужна.

"Теперь я мечтаю о вороном жеребце с серебряной сбруей, - сказал он. - И чтоб жеребца звали Скилур, в честь нашего царя", - при этих словах у Полудина азартно загорелись глаза и в щеки ударил крутой румянец.

Петр Петрович не стал спрашивать у Полудина, кто такой Скилур и почему он назвал его "нашим царем". Не до того ему было: его обуяла такая злость, что, не

уйди Полудин в ту же минуту, он, кажется, набросился бы на него с кулаками. Поостыв же немного, Лукашевский решил, что отправится на линию сам, без Полудина - соорудит волокушу и с Божьей помощью авось да доберется до места аварии. А там, глядишь, и Полудин одумается, если в нем еще осталась хоть капля совести: ведь стыдно будет ему, молодому и здоровому, смотреть как потащит в степь тяжелую волокушу старый человек.

Целый день ладил Лукашевский волокушу посреди двора, - чтоб Полудин видел, - нагружал ее имуществом. Прибегал Павлуша, спрашивал, что это будет, приходила Александрина и наблюдала как упорно трудится Петр Петрович, сколачивая длинные жерди и отесывая под полозья их концы; выглядывал из окна, посмеиваясь и посвистывая, Полудин. Петр Петрович потел, чертыхался, примерялся к волокуше, впрягаясь в оглобли, таскал ее по двору, сначала пустую, потом нагруженную. К вечеру полностью снарядил ее, поставил у входа в аппаратную, включил маяк и отправился отдыхать. Часа два провалялся без сил на диване, затем стал звонить на подстанцию, чтобы предупредить диспетчера о своем решении выйти с утра на линию. Подстанция долго не отвечала. Наконец трубку взяла какая-то женщина - прежде Лукашевскому всегда отвечал мужчина - и потребовала, чтобы Петр Петрович прекратил беспокоить ее своими бесконечными звонками, так как на подстанции, кроме нее, никого нет.

"А вы кто? - спросил Петр Петрович. - Что за цаца такая, которую нельзя беспокоить?"

Женщина ответила, что она сторожиха и охраняет объект, который теперь никому не нужен. Лукашевский стал кричать и требовать диспетчера. Сторожиха тоже закричала, обозвала Лукашевского "дубиной", сказала, что он, наверное, свалился с неба, если до сих пор не знает, что подстанция давно не работает, поскольку по требованию народа остановлена главная станция в сопредельной независимой области. Петр Петрович, обескураженный ее словами, попытался сообразить, о какой независимой области идет речь, и пока думал об этом-, сторожиха бросила трубку. Он позвонил снова, но безрезультатно - к телефону на другом конце провода больше никто не подходил. Тогда он связался с Яковлевым. Яковлев выслушал его и сказал, что сторожиха права. "В сопредельной независимой области, - объяснил он, - народ заблокировал электростанцию как экологически вредную. Надо слушать радио, дорогой Петр, а не малевать заграничные пейзажи". Теперь уже сам Петр Петрович бросил трубку так обидели его слова Яковлева.

Стукнула входная дверь. Лукашевский оглянулся, ожидая почему-то увидеть Гостя. Но в аппаратную вошла Александрина. У нее было виноватое лицо. Петр Петрович вздохнул. Было ясно, что она пришла извиниться. Не за себя - ее-то Лукашевский ни в чем упрекнуть не мог, - а за мужа, за Полудина: она все знает, все видела, ей стыдно за него, между ними произошел очень серьезный разговор, он осознал свою вину, раскаивается и просит его простить. И, конечно же, пойдет завтра с Петром Петровичем на линию, раз уж так надо, а сейчас готов подменить его на дежурстве, понимая, что Петр Петрович устал и нуждается в отдыхе. И добавила от себя: "Не сердитесь на Полудина: с ним происходит что-то неладное, как и со всеми нами - затмение какое-то. И идите отдыхать: кто знает, какой завтра выдастся день..."

Ах, Александрина, Александрина, милый человечек, добрая душа, одна лишь ты только и печешься обо мне, тобой лишь одной согревается мое старое сердце. Но мы из разных времен, из разных пространств, тебе цвести, а мне тлеть, как сказал Поэт, и руки наши не сплетутся, как не сплетается ветер с листвой... Прощу я твоего муженька, хоть в том и нет нужды: сорванное яблочко хотя и краснеет, да не наливается. Тебя успокою, тебя жалею. И люблю...

Такие слова прокатились теплым комочком по сердцу Петра Петровича, но вслух он сказал другое: о том, что идти на линию не надо, так как уже отключена и подстанция, и что он успел отдохнуть, потому в подмене не нуждается.

Александрина не стала допытываться, почему отключена подстанция, видимо, решила, что это - в порядке вещей, покивала печально головой и тихо ушла. Лукашевский подумал, что мог бы сказать ей что-нибудь ласковое, но тут же похвалил себя за сдержанность: время ли думать о якоре, когда рубишь трос?

То, о чем он думал после разговоров с подстанцией и Яковлевым, можно было вместить в одно понятие: распад. Распался привычный мир. Он думал об этом и раньше. Но теперь факт распада представлялся ему особенно четко и убедительно. Прежде многое можно было свести к случайностям. Теперь же стало очевидно: события, как выстроенные в один ряд костяшки домино, толкают друг друга и валятся неотвратно. Кто толкнул первую костяшку? "Ветер, - ответил себе Петр Петрович. - Может быть, ветер". Другому он ответил бы, наверное, иначе.

Утром Лукашевский связался по радио со своим управлением и сообщил о надвигающейся беде: "Линия вырублена из энергосети, солярка для автономной электростанции на исходе, дороги размыты паводком, доставка горючего невозможна", - доложил он начальнику управления и спросил, что делать.

"Что делать, что делать... Лукашевский? - узнал его по голосу начальник управления. - Вы еще на маяке работаете? - удивился он. - Ваше заявление об увольнении я подписал три недели назад. Вам уже выслан расчет. И вашему помощнику Полудину. А вы, оказывается, все еще там".

"Я просил уволить меня с первого мая, - ответил Петр Петрович. - Но если вы так решили... Кстати, как же я могу покинуть маяк, не дождавшись замены? Удивляться должен я, а не вы. И все-таки объясните мне, что делать?" потребовал Петр Петрович.

"Ничего не надо делать, - ответил начальник. - Ваш маяк переведен в разряд временно бездействующих. По причине, о которой вы сказали - из-за отсутствия энергоснабжения. Флоты предупреждены. Законсервируйте всю систему. Письменный приказ вам отправлен. Для охраны объекта и имущества к вам послан человек. Дождитесь его, передайте ему все по акту и можете быть свободны. Благодарю за безупречную службу, - помолчав, добавил начальник. - Вы слышите меня, Лукашевский?"

"Да, слышу, - ответил Лукашевский. - Прощайте".

Полудин вошел в аппаратную уже после того, как Лукашевский выключил радиостанцию. На нем была брезентовая роба, широкий со стальными кольцами пояс верхолаза, в руках он держал резиновые электромонтерские перчатки. Похлопав перчатками по ладони, Полудин сказал, что готов двинуться в путь, на линию.

"В этом нет никакой нужды, - ответил ему Лукашевский. - К тому же вы уволены, - и добавил, когда у Полудина от растерянности отвисла челюсть: Кстати, я тоже уволен. Одновременно с вами. Три недели назад. Расчет уже давно ждет нас на почте. Так что если нам куда и нужно двинуться, так только в райцентр. На вашей "Хонде", Полудин, потому что моя "чайка" не пройдет". "Чайкой" Петр Петрович называл свою машину. Пересказал Полудину радиоразговор с начальником управления. Полудин сел, схватился за голову. "Без ножа зарезали, - сказал он. - Всею хана".

Петр Петрович давно не интересовался, как обстоят у Полудина дела с его переездом в райцентр, на новое обещанное ему место работы. Теперь выяснилось, что работу и квартиру в райцентре Полудин сможет получить только в июле-

августе или даже позже и что все это время ему придется жить без зарплаты на маяке.

Александрина, узнав о случившемся, всплакнула, ушла в коровник и сидела там, пока Петр Петрович и Полудин отделяли коляску от "Хонды" и позвали только тогда когда понадобилось запереть ворота.

"Если опять появятся эти бандиты на лошадях, - сказал ей Полудин, выкатив мотоцикл за ворота, - не открывай им. А станут ломиться, стреляй из ружья. Оно стоит в коридоре".

"В воздух, разумеется, - добавил Петр Петрович. - Через час-другой мы вернемся". Уже возвращаясь из райцентра, Лукашевский и Полудин догнали на дороге человека, который шел к маяку. Человек был в защитной военной форме с автоматом на груди.

"Куда, служивый?" - спросил его Лукашевский, когда Полудин притормозил рядом с ним.

Путник был молод, лет тридцати-тридцати пяти, белобрыс, скуласт, небольшого роста, широкоплеч, голубоглаз, улыбчив. Придерживая на груди автомат обеими руками, он весело подмигнул Лукашевскому и Полудину, обошел вокруг "Хонды", снова подмигнул, дескать, машина что надо, и замер с вопросом в глазах, словно забыл, о чем спросил его Лукашевский.

"Эта дорога ведет к маяку", - сказал Лукашевский.

"Естественно, - улыбнулся крепыш. - Что дальше?"

"Дальше? - Лукашевскому не понравилась его манера разговаривать, но делать было нечего, сам ввязался с ним в разговор, пришлось продолжить. - Дальше мы интересуемся, куда вы идете. Не на маяк ли?"

"А вы?" - закачался с каблука на носок путник.

"Мы-то на маяк, - не скрывая раздражения, ответил Петр Петрович. - Мы там трудимся и живем. Потому и спрашиваем, не к нам ли вы идете.

"Вы там не трудитесь, а только живете, - сказал путник. - Во всем нужна точность. А я иду туда трудиться".

"Слушай, парень, - не выдержал Полудин, - перестань корчить из себя важную шишку. Мы уже поняли, кто ты: тебя направили на маяк сторожем. Вот и топай. А мы тебя соответственно встретим".

Полудин газанул и отпустил рычаг муфты. "Хонда" рванулась и понеслась, лихо набирая скорость.

"Не надо было так, - прижимаясь к Полудину, прокричал ему в ухо Лукашевский. - Как-то нехорошо получилось".

"Перетопчется", - ответил Полудин.

Пока ехали, пока перетаскивали мотоцикл через глубокие промоины, договорились о том, что Полудин вернется за сторожем и привезет его на маяк. Петр Петрович сошел у маяка, а Полудин, круто развернувшись, помчался обратно. Через полчаса вернулся со сторожем. Петр Петрович открыл им ворота.

"Рудольф, - смеясь, представился Петру Петровичу сторож. - Или просто Рудик. Не дали вы мне там повыпендриваться. Я заскучал было в дороге - уж очень невеселые тут места, хотел поиграть малость, а вы - сердиться. Не сердитесь. Я нормальный парень. Немного, правда, с приветом - это после Афганистана. Но вполне, как говорится, коммуникабельный".

Петр Петрович уступил Рудольфу одну из своих комнат, спальню, вместе со всей мебелью. Рудольф намеревался перетащить в переднюю комнату диван, а себе взять раскладушку, но Петр Петрович настоял на своем. Спросил у Рудольфа за обедом, как тот представляет себе свою будущую службу на маяке.

"Очень просто, - ответил Рудольф. - Днем буду спать, а ночью - дежурить на башне. Таково предписание. А когда вы уедете, кое-что изменю, но это - секрет для всех".

"Дежурить будете с этой штукой?" - спросил Петр Петрович об автомате.

"Обязательно, - сказал Рудольф, потянувшись к автомату. - С этой штукой не расстанусь. Она мне нравится.

К тому же мне приказано охранять маяк как военный объект. Усекаете ответственность?"

"Усекаю", - ответил Петр Петрович и с тревогой подумал о том, что произойдет, если Рудольф неожиданно встретится с Гостем.

Два дня Лукашевский и Рудольф занимались тем, что сверяли с описью наличие всякого рода имущества и составляли акт его передачи и приема. Петр Петрович, вопреки приказу управления, включал по вечерам маяк, убедив Рудольфа в том, что это надо делать, пока есть горючее. Полудин помогал ему. Вместе они старались обучить Рудольфа управлению маяком на тот случай, если удастся, добыв горючее, поддерживать маяк в рабочем состоянии и дальше. Рудольф оказался прилежным учеником, сообразительным малым и, как он не без гордости заявлял сам, "упорно овладевал знаниями, старался быть примером в боевой и политической подготовке". По ночам однако, забирался с автоматом на башню и простаивал там до рассвета. Петра Петровича это забавляло, а Полудин вертел у виска пальцем и уверял Петра Петровича, что Рудольф "определенно чокнутый",

На пятую или на шестую ночь Петра Петровича, да и Полудиных тоже, разбудила длинная автоматная очередь. Петр Петрович выбежал из дому в чем был, столкнулся во дворе с Полудиным.

"Что случилось?" - спросил он на бегу.

"А то, наверное, что я говорил", - ответил Полудин.

Вместе они поднялись на башню. Рудольф спокойно сидел на балкончике и набивал рожок автомата новыми патронами.

"Ты что? - накинулся на него Полудин. - Совсем того?"

"А вот, - улыбаясь, ответил Рудольф и тронул пальцем вонзенную в деревянные перила стрелу. - Они по мне из лука, а я по ним из автомата. На лошадях, мерзавцы. Здорово, видно, я их пугнул. Вмиг исчезли". "А если бы убил? - спросил Лукашевский, стуча зубами от холода. - Ведь мог бы и убить. Или уже убил". "Утром увидим, - ответил Рудольф. - А сейчас приказываю вам покинуть мой пост. Быстро!"

Петр Петрович и Полудин переглянулись и стали спускаться.

"Спокойной ночи! - весело крикнул им сверху Рудольф. - Привыкайте к боевой обстановке, голоштанники!"

Утром, едва Рудольф вернулся домой, Лукашевский вышел за ворота. Метрах в пятидесяти от башни земля была ископана лошадьми. У стены Петр - Петрович подобрал две стрелы - камышовые тростинки с тяжелыми и острыми металлическими наконечниками.

"О Боже, - вздохнул Петр Петрович. - Скорее бы сняться с якоря. Все сумасшедшие, все!"

Из аппаратной он позвонил Яковлеву. Было еще рано. И потому застал Яковлева дома. Яковлев его звонку не обрадовался, на приветствие не ответил, сразу же спросил, что ему надо. Лукашевский сказал, что нужна дорога. От маяка до райцентра и от райцентра до флотской базы.

"Ладно, будет тебе дорога, - ответил Яковлев. - До флотской базы уже есть - сделали сами флотские. А на твой участок сегодня же пошлю бульдозер. Что еще?" - спросил он нетерпеливо.



"Это все", - сказал Петр Петрович.

Петр Петрович немного подождал и позвонил снова.

"Сергей, это опять я, не клади трубку", - быстро заговорил Петр Петрович, не дожидаясь, когда Яковлев ответится. - У меня куча новостей. Хорошо бы встретиться. Ведь скоро расстанемся надолго, если не навсегда. Назначь время, я приеду. Или приезжай сам. Буду очень рад".

"Я позвоню тебе, - не сразу ответил Яковлев. - Может быть, завтра, часом в восемь. До завтра. Жди звонка. У меня тоже тут... Словом, до завтра".

Тарахтенье бульдозера Лукашевский слышал только к вечеру. Вышел за ворота на дорогу. Бульдозерист оказался знакомым - тем самым парнем, который зимой привез на маяк яковлевский подарок - две бочки солянки.

"Справился?" - спросил его Петр Петрович.

"А как же! Справился! С вас пол-литра, как говорится", - отозвался бульдозерист.

Петр Петрович достал кошелек, дал бульдозеристу десятку. Бульдозерист деньги взял, пожал Петру Петровичу руку и, погрозив пальцем закатному солнцу, тронулся в обратный путь. Петр Петрович помахал ему шапкой.

У ворот его ждал Рудольф. Спросил о бульдозеристе, что ему было надо.

"За десяткой приезжал. На водку не хватало", - ответил Петр Петрович.

"Мне бы тоже водочки, - вздохнул Рудольф. - Не найдется?"

"Сколько надо? Пол-литра, литр?" - спросил Петр Петрович.

"Вы плохо обо мне думаете, - ответил Рудольф. - Сто граммов - вполне достаточно".

Они вместе вернулись в дом. Петр Петрович повел Рудольфа в кухню, налил ему водки.

"А что было делать, - словно продолжая начатый разговор, заговорил Рудольф, занюхивая водку хлебом. - Я спросил их с башни, кто такие, а они в меня из луков. Хорошо, что я пригнулся, а то лежал бы теперь со скрещенными на груди руками. Ну я и пальнул по ним. Реакция у меня такая: стреляют в меня стреляю и я. Но бил выше голов. Оцените. Полудин мне уже рассказывал, что такие штучки тут случаются. А вы не знаете, кто эти наездники? Полудин не знает".

"Я тоже не знаю, - ответил Петр Петрович. - Обычное хулиганье, думаю. Пацаны. Воруют колхозных лошадей и носятся по степям. Скифы".

"Скифы? - переспросил Рудольф. - Какие еще скифы?"

"Да жили тут когда-то. Две тысячи лет назад. Игра. Но игра плохая. Я видел стрелы, нашел под стеной. При хорошей тетиве такая штука вполне может убить".

"Кстати, - сказал Рудольф, прожевав хлеб. - У вас должен быть пистолет. В описи он не значится, но в управлении мне о нем сказали. Надо сдать пистолет".

"Сейчас?" - спросил Петр Петрович.

"Можно и сейчас".

Петр Петрович отдал Рудольфу пистолет и запасную обойму с патронами.

"Жалко расставаться? - спросил Рудольф. - Мне было бы жалко. Вот и с автоматом не могу расстаться. Сросся с ним. Потому и согласился на эту службу".

Лукашевский спросил, как он будет жить, когда останется один.

"Как-нибудь. Летом, думаю, найду себе на пляже девочку, - ответил весело Рудольф. - Бывают тут красивые девочки? Ну, как вот эта", - указал он на портрет Марии.

"Тут все девочки красивые", - ответил Петр Петрович, простив Рудольфу его невольную бестактность.

Вечером, когда Рудольф был уже на башне, к Петру Петровичу пришла Александрина и поделилась с ним своей тревогой: Полудин, ушедший еще на рассвете в райцентр с коровой, которую повел продавать, до сих пор не вернулся.

Петр Петрович взглянул на часы. Было восемь. Петр Петрович предположил, что если Полудин все-таки продал корову, то наверняка сделал это до закрытия рынка, то есть до шести вечера. А выйдя из райцентра в шесть, он мог добраться до маяка только к десяти.

Теперь же было только восемь. Стало быть, при таком варианте сейчас Полудин находился на полпути.

Лукашевский вывел из гаража машину, объяснил Рудольфу, окликнувшему его с башни, куда и зачем едет, тронулся в путь, включив фары на дальний свет. Ехал медленно, чтоб не влететь в размоину - на добросовестность бульдозериста положиться было нельзя.

Полудина он увидел возле курганов. Тот сидел посреди дороги, сидел неподвижно, упершись обеими руками в землю. Без пальто, без шапки. Растрепанные волосы падали на лицо, и весь он был вывален в грязи. А когда свет фар выхватил его из тьмы, не только не попытался встать, но даже не шевельнулся, не заслонился рукой от яркого света. Петр Петрович подъехал к нему почти вплотную и вышел из машины. Первой его мыслью было, что Полудин пьян: продал корову и напился на радостях или с горя. Но Петр Петрович ошибся - Полудин был жестоко избит. Кровь стекала у него по подбородку, пиджак и рубаха были разорваны. Лукашевский приподнял с его лица волосы и увидел, что у Полудина разбит нос, губы, а глаза заплыли черными синяками. На вопрос, что случилось, Полудин не ответил, лишь застонал и мотнул головой. Петр Петрович поднял его с земли, дотащил до машины и усадил на переднее сиденье, плотно пристегнув ремнем. Сел за руль, но поехал не сразу - не мог решить: везти Полудина домой или немедленно доставить в больницу.

"Спасибо, - вдруг произнес Полудин, чуть приоткрыв глаза. - Домой. Меня ограбили. Банда. Я отбивался, но их было много. Домой".

"Потом все расскажешь, - сказал Петр Петрович. - Держись".

Он вез его осторожно, на первой и второй скорости, притормаживал перед ухабами, старательно объезжал рытвины, поглядывал на него с тревогой, думая о том, что, возможно, напрасно везет домой, а не в больницу, что зря не осмотрел, не проверил, нет ли на теле серьезных ран. Полудин молчал. Голова его болталась, как буй на волне, а из разбитого носа, с губ стекала по подбородку, капая на колени, кровь.

Лукашевский пожалел, что не взял с собой Александрину: она сразу сказала бы, куда везти Полудина.

Трудно было предположить, сколько времени Полудин пролежал на дороге. Одному радовался Петр Петрович - тому, что Александрина, словно почуя беду, пришла к нему со своей тревогой, а ведь могла бы и не прийти, решив, что Полудин заночевал в райцентре. Вот тогда Полудин наверняка погиб бы на дороге: ведь с вечера начало круто примораживать.

Он не стал сигналить у ворот. Сам открыл их и въехал во двор. Пока Александрина бежала к машине, успел выйти и остановить ее. Сказал то, что надо было сказать, прежде чем подпустить ее к машине: избит, ограблен, без сил. Позвал Рудольфа, чтобы тот помог ему внести Полудина в дом.

Вдвоем раздели Полудина, убедились, что нет ножевых и других серьезных ран, обмыли лицо, смазали ссадины, поставили примочки, напоили теплым чаем. Полудин постанывал, но был в сознании.

"Ничего, - вынес свое заключение Рудольф. - Бывает хуже. Скоро оклемается". То, что случилось с Полудиным, выглядело, по его словам, так: он выгодно продал корову, получил деньги и сразу же отправился в обратный путь, домой. Никаких дурных предчувствий у него не было, никто за ним не следил во время торгов; покупателем оказался вполне солидный человек, к тому же хороший

знакомый, и навести грабителей на него не мог - тут Полудин готов был поручиться на все сто процентов; конники же выскочили из-за ближнего кургана сосчитать их Полудину не удалось, так как было уже темно, но по топоту копыт, по конскому храпу, по людским голосам он предположил, что их было не меньше десяти; как они выглядели, не рассмотрел, но все - мужики, может быть, даже пацаны - очень уж зычно гикали и визжали; несколько человек спешили, окружили его, стали бить, выворачивать карманы, рвать одежду; били даже тогда, когда он упал, - ногами - хорошо, что не затоптали лошадьми; потом все унеслись в степь, как ветер; отняли не только деньги, но и часы, зажигалку, сигареты, авторучку, ключи от дома, пальто, шапку; он не сразу сдался, отбивался отчаянно, пожалел, что был без ружья, - надо было прихватить с собой в дорогу, думал даже об этом, когда собирался, сказал Александрине, но она не позволила...

"Жив остался - и ладно, - сказала со вздохом Александра. - Хоть и побит, да греха твоего нет".

"Я их выслежу, - сказал Полудин. - Я им отомщу".

"Вместе выследим, - поддержал его Рудольф. - А уж от меня никто не уйдет".

Петр Петрович попросил прекратить этот разговор и выбросить из головы мысли о мести. "Зло должно быть наказано", - возразил ему Рудольф.

Полудин пожал Рудольфу руку.

Жаль было Полудина, жаль было Александрину: насилие, грабеж - это всегда беда. Петр Петрович не спросил, сколько денег отняли у Полудина бандиты, чтобышний раз не бередить его раны. Для Полудина это были не просто деньги - он отдал за них корову, доброе существо, которое кормило его семью. Вместе с деньгами бандиты отняли у него мечту о собственной машине или о лошади.

Петр Петрович и Рудольф ушли от Полудиных вместе. Рудольф, выпив чаю, поднялся на башню, а Петр Петрович занялся своими бумагами - документами и лощами: пришло время все это собрать, перепроверить, сложить в водонепроницаемые пакеты. И вообще настала пора укладывать вещички - на носу был уже апрель.

Постоянство, с каким Рудольф проводил ночи на башне, оказалось Петру Петровичу на руку - никто не мешал ему. Была у Петра Петровича еще одна забота, заставлявшая избегать лишних глаз, - нужно было разобрать все Личное имущество, с которым ему предстояло вскоре расстаться. Естественно, он предпочитал заниматься этим в одиночестве. Тут было много грустного, как при любом расставании.

Он укладывал в чемодан вещи, которые намеревался отвезти завтра мастеру, когда вдруг дверь тихо скрипнула, как от легкого сквозняка, и приоткрылась Петр Петрович так и не удосужился врезать замок. Не оборачиваясь и думая, что пришел Рудольф и теперь старается пройти в комнату как можно тише - время было уже позднее, - Петр Петрович сказал: "Да не сплю я, не сплю. Входи смелее".

Дверь снова скрипнула, и вошедший спросил: "Не помешаю?"

Петр Петрович оглянулся. В дверях стоял Гость. Его-то Петр Петрович как раз и не ждал. Как-то сама собой у него сложилась уверенность, что Гость к нему больше не пожалует: и времени с момента последней встречи прошло много, больше месяца, и странный ряд перестал пополняться новыми событиями и убежденность Яковлева, что Гость и Сумасшедший Режиссер - одно лицо, тоже возымела на Петра Петровича свое действие. "Застожье" и "Вид на пирамиду Хеопс" оставались все это время неизменными. Лукашевский привык к ним и как-то позабыл о необычности их появления, считал, что они едва ли не полностью дело его рук, а все прочее, связанное с ними, относил на счет снов, грез и смутной игры

воображения, может быть, даже болезненного, о чем предпочитал не думать. Да и думать об этом было некогда - погибал маяк.

Словом, Гостя он не ждал.

"Не помешаю? - повторил свой вопрос Гость. Он пришел в пальто и шапке, подаренных ему Петром Петровичем во время прошлой встречи, на руках его были резиновые электромонтерские перчатки, брючины внизу обтрепались в бахрому, ботинки - тоже подарок Петра Петровича - выглядели так, словно Гость прошел в них по каменистой пустыне добрую тысячу верст.

"Как вы сюда попали?" - спросил Петр Петрович, вспомнив о дежурившем на башне Рудольфе.

"Как всегда", - ответил Гость.

"Как всегда - это как? Вы никого не встретили?"

"Никого".

"Вы вошли через ворота?"

"Нет, - улыбнулся Гость. - Я вошел через пролом в ограде".

"Через пролом?!" - удивился Лукашевский. - Разве в ограде есть пролом?"

"Да. Есть. Возле вашего гаража. Обычно он заложен камнями. Я вынимаю камни и вхожу. А уходя, снова кладу камни на место".

"Так просто? - Лукашевский вдруг развеселился. - А я - то думал Бог знает что... А сюда? - спросил он. - В дом. Ведь на дверях замки".

"У меня есть ключ от двери, которая выходит на железную лестницу", - Гость снял с одной руки перчатку и показал на ладони ключ.

Петр Петрович взглянул на него и убедился, что это действительно тот самый ключ.

"Прекрасно! - еще более развеселился Лукашевский и, взяв Гостя за локоть, провел в комнату. - Раздевайтесь, - предложил он. - Поужинаем вместе".

"Буду весьма признателен, - сказал Гость. - Я уже вторые сутки без еды"

"Вторые сутки? - Петр Петрович повесил пальто и шапку Гостя на вешалку. Разве вы теперь не исчезаете? Ну, как раньше - бросаетесь с утеса и исчезаете. Так, кажется, вы поступали раньше?"

Гость, посмеиваясь, расчесал гребешком бороду и сказал, усаживаясь в кресло: "Неужели вы в это поверили? Разве может человек исчезнуть таким образом? Разбиться - да, но исчезнуть... Исчезнуть невозможно. Я просто уходил. Но иногда оставался. У вас в гараже есть теплый уютный погребок. В него можно попасть из смотровой ямы. Вы туда никогда не спускаетесь. А я там жил. И, извините меня, кое-чем пользовался из ваших съестных припасов. Когда вы покидали дом разумеется. Ну и рисовал за вас эти ваши картины. У меня тоже, знаете ли, есть некоторый талант, в чем вы, несомненно, уже убедились. Я рад, что вы повесили картины на стены. Они очень украсили ваше холостяцкое жилище".

"Так, так, - Петр Петрович, ошарашенный рассказом Гостя, тоже сел. - А грот, а горящая свеча?" - спросил он.

"Я знаю, - кивнул головой Гость. - Я был там, когда вы пришли за лодкой. Вы меня просто не увидели. Там есть ниша с боковым углублением. Я стоял там. Но лодку у вас похитил не я, Я нашел ее, брошенную под обрывом, и затащил в грот, чтоб не унесло в море. Что еще? - спросил Гость. - Шаги на аккумуляторной? Это очень просто: я влез на гараж, с гаража - на ограду, с ограды - на крышу аккумуляторной. Так же и ушел. Что мне там понадобилось? Ничего особенного. Просто надо было размяться после долгого сидения в погребке. По двору ходить было небезопасно - мог бы встретиться с кем-нибудь из вас. Разбирать пролом в стене не хотелось. Вот я и поднялся на крышу..."

"А бабы? - спросил Петр Петрович. - А скифские бабы на курганах, которые то появлялись, то исчезали? Это что?"

"О-хо-хо, - вздохнул Гость. - Это действительно, странно. Вы уверены, что бабы появлялись?"

"Уверен. Да и мой помощник видел. И жена его".

"Это странно. Тут что-то другое. Разумеется, я очень хотел, чтобы бабы на курганах появились. Они понадобятся мне для моего фильма. Теперь они, слава Богу, есть, но тогда... - Гость пожал плечами. - Тогда я только хотел. Тут что-то другое. Может быть, мое биополе захватило вас? - он посмотрел на Лукашевского внимательно и настороженно. - Вы допускаете такое толкование феномена?"

"Но это, кажется, из области фантастики?" - ответил Петр Петрович.

"Кто знает, кто знает..." - Гость помолчал, потом коснулся рукой колена Петра Петровича и напомнил ему об обещанном ужине.

"Конечно! - спохватился Петр Петрович. - Сейчас будет ужин".

Гость остался в комнате, а Петр Петрович принялся хлопотать у кухонной плиты. "Надо же! - думал он. - Ну надо же!" - и вдруг поймал себя на том, что насвистывает ламбаду. Хотел остановиться, но тут же передумал: душевное облегчение, освобождение от прежних тревожных загадок, которое вдруг подарил ему Гость, было так приятно, что он готов был и запеть. Немного смущала, конечно, история со скифскими бабами, но о них думать не хотелось. В конце концов можно было принять и объяснение Гостя: ну, попал в его биополе вполне в духе нынешнего сумасшедшего времени. Зато все остальное выпало из странного ряда: нет больше головоломок, долой опасения насчет болезни... Есть только этот странный тип, этот приبلудившийся Гость, он же, кажется, Режиссер: ведь сам упомянул о каком-то фильме.

Лукашевский решил, что завтра же осмотрит ограду, погребок в гараже, осмотрит Главный Грот - но это уже послезавтра - и найдет в нем ту самую хитрую нишу с боковым углублением. Впрочем, он и теперь уже верил, что все это так: в ограде есть пролом, в погребке остались следы Гостя, а в боковом углублении ниши, о котором он до сих пор не знал, можно надежно спрятаться от посторонних глаз.

"Теперь вот о чем, - сказал он Гостю, когда тот утолил первый голод, теперь, пожалуйста, несколько слов о себе. Я не стал бы вас спрашивать об этом, но вы, согласитесь, некоторым образом морочили меня, выдавали себя за некую внеземную силу, а это, простите, несколько некорректно с вашей стороны. Словом, кто вы?" - спросил Лукашевский.

"Да, - согласился Гость. - Вы правы. Но было так скучно. Хотелось хоть немного игры. Игра - это моя главная страсть. Я - режиссер. Кстати, так можете меня и называть - Режиссером. Мое настоящее имя вам ничего не объяснит. Да мы, пожалуй, и не встретимся больше: я нашел себе другое пристанище. К тому же наступает пора съемок. Теперь я буду там, на съемках. Потому и пришел к вам с этим откровением. И еще я понял, что вам сейчас нужна душевная уравновешенность, ясность, потому что впереди у вас столько испытаний и открытий. Лишний груз вам ни к чему. Знаю: к истине вы пробьетесь, вы станете ею, - сказав это, Гость охнул и нахмурился, как если бы фраза вырвалась из его уст помимо воли. - Простите, простите, - извинился он тут же, прижав руку к груди. - Откуда мне знать... Просто сболтнул. Истина, конечно, не ахти что, не тайна за семью печатями, мы постоянно носим ее в себе, себя не узнавая... Но я, кажется, опять не о том".

"Ладно, - успокоил Гостя Петр Петрович. - Давайте ото м".

"Да... итак, я - режиссер, - продолжал Гость. - Беглый режиссер, сумасшедший режиссер... Так меня тут некоторые окрестили. А вообще-то правильно

окрестили: я действительно беглый и сумасшедший... Но вы не бойтесь меня, - снова встревожился он. - Сейчас я вполне нормальный. Так мне кажется. - А вам?"

"Мне тоже", - ответил Петр Петрович.

"Спасибо, - улыбнулся Гость. - Вы добрый человек, чуткая душа. Вы помогли мне..."

"Об этом не надо", - попросил Петр Петрович, опасаясь, что Гость так и не доберется до главного в своем рассказе.

"Хорошо, - согласился Гость. - Не буду. Но все же большое вам спасибо. Говорю это теперь, чтоб потом не забыть. Ведь потом я могу внезапно исчезнуть? - засмеялся он. - Не так ли?"

И слова эти, и смех Лукашевскому не понравились: он подумал, что Гость начинает старую игру, и спросил, выдав свое нетерпение: "Так откуда же вы, господин Режиссер?"

"Господин?! - Гость положил вилку на стол, подпер кулаками бороду и посмотрел на Петра Петровича с благодарным вниманием. - Мне это нравится сказал он, - "господин Режиссер"... В этом сочетании много правды. Да, да, похвалил он Петра Петровича. - Вы многое этим сказали. И многое угадали. Не забудьте потом..."

Лукашевский застучал пальцами по столу: Гость снова уклонялся от прямого ответа.

"Хорошо, хорошо, - сказал Гость. - Вот мой рассказ о себе... то, что я хочу снять - ужасно. Я назвал мой будущий фильм "Вечная война". Но он не о войне, как мы ее себе представляем, а о страшной ненависти к себе подобным, которая неискоренимо сидит в нас. Мы лишь терпим друг друга, когда сыты и одеты. Когда же нам холодно и голодно, в нас пробуждается бес ненависти. На земле должен был бы жить лишь один человек, эта неудачная игрушка, сплепленная Богом. Говорят, что Бог создал нас праведными, а мы пустились во все тяжкие. Но это не так: он создал нас для кровавого спектакля, которым наслаждается... Я понятно выражаюсь?" - спросил Гость.

"Да, понятно, - ответил Петр Петрович. - Вы хотите снять ужасный фильм о том, как люди, поняв замысел Бога, истребят себя, чтоб не быть игрушкой для его сомнительных развлечений?"

"Именно так! - обрадовался Гость. - Вы сказали лучше, чем я. Именно так! Гордые, мы истребим себя, чтобы не быть игрушками".

"Но что дальше?" - спросил Лукашевский.

"Дальше - ничего. Или, как некогда сказал молодой датский принц: дальнейшее - молчание".

"Я спросил вас не о том, - перебил Гостя Лукашевский. - Я хочу узнать о том, кто вы".

"Ах, простите, конечно, - Гость встал и заходил по кухне. - Кто я? Я - тот самый режиссер. Когда я показал моим земным коллегам мой сценарий, они решили, что я сумасшедший".

"Земным? - переспросил Лукашевский. - А вы - какой?"

"Не в том смысле. Я оговорился, конечно. Но не в том смысле, - Гость остановился у окна и побарабанил по стеклу пальцами. - Тут я оговорился, сказал он, обернувшись. - Не ловите меня на словах. Истинный смысл их в другом: я снимаю фильм не для людей, а для Бога. Люди этот фильм не увидят. Когда он будет готов, людей уже не будет. Кроме одного человека. Ведь я уже сказал, что на земле может жить только один человек".

"Да, вы это сказали. Но надо ли возвращаться к тому, что уже сказано? Давайте прощайте. Итак, вас объявили сумасшедшим и вы сбежали. Сюда. И теперь

прячетесь от ваших коллег в погребках, в гротах. Но как же быть с фильмом? Ведь для того, чтобы снять его, нужна техника, операторы, ассистенты, артисты, художники, гримеры. Средства, наконец..."

"Чепуха! - замахал на Петра Петровича руками Гость. - Ничего этого мне не понадобится. Вы не поняли. Ведь я сказал, что фильм не для людей, а для Бога. Да и не фильм это вовсе, а, скорее спектакль. Но он будет запечатлен. Может быть, это за пределами вашего понимания. Но это так". "Боюсь, что я плохо понимаю, - признался Лукашевский. - А вы говорите слишком туманно. Ответьте мне четко: что вы здесь делаете?"

"Ничего, - ответил Гость. - То есть по сути ничего. Прячусь от коллег, от врачей, которых они на меня науськали, от милиции... Кстати, милицию на меня натравил ваш друг Яковлев, хотя я оказал ему большую услугу, избавив его от недуга. Ведь он больше не жалуется на радикулит, правда?"

"Да, правда".

"Я жду, - сказал Гость. - Это для меня сейчас главное - ждать. Жду, когда все начнется. Хотя, если быть точным, все уже началось".

"Что именно?" - спросил Лукашевский.

"Фильм, Петр Петрович. Фильм начался. - Гость взял Лукашевского за руку и повел в комнату. - Здесь просторнее, - сказал он уже в комнате. - Здесь лучше. Вы слышали, конечно, о скифах, о сарматах, о таврах, киммерийцах, готах, продолжил он, расхаживая по комнате. - Вы видели конников, которые носятся по здешним степям. Недавно они ограбили и избili вашего помощника Полудина, а Рудольф по ним стрелял из автомата. Вы знаете, что через два-три дня погаснет ваш маяк - горючего не добудете".

"Добуду!" - сказал Лукашевский.

"Не добудете. Впрочем, какая разница, когда маяк погаснет - через три дня или через три месяца. Словом, все это начало моего фильма. Племена, которые я перечислил, вскоре соберутся в районе курганов. И тогда вы все увидите..."

На веранде послышались шаги.

"Вы еще не спите? - сказал Рудольф, входя в комнату. - О, да у вас гость! - воскликнул он, увидев, что Лукашевский не один. - Какими судьбами? А главное, как? Неужели я проморгал?"

"Проморгал, - отретил Лукашевский, - проспал".

"Давайте знакомиться, - Рудольф протянул Гостю руку и назвал себя.

"Режиссер, - ответил Гость. - Давний приятель Петра Петровича".

"На чем же вы добрались сюда? Неужели пешком?" - спросил Рудольф.

"Пешком, пешком, - ответил за Гостя Лукашевский. - Пойди посмотри, что стоит на кухонном столе, - предложил он Рудольфу. - В прозрачной бутылочке".

"А! - обрадовался Рудольф. - Я как раз за этим: жутко холодно на верхотуре. Не откажусь, не откажусь".

"Проводите меня, - попросил Лукашевского Гость, едва Рудольф скрылся за кухонной дверью. - Мне пора."

"Но мы не договорили, - возразил Лукашевский. - Скоро утро. Утром и пойдете. Я вас отвезу куда вам надо".

"Мне надо теперь. Сейчас же!" - сказал Гость.

Пальто и шляпу он надел на ходу. Торопился, шел впереди Петра Петровича. Дернул калитку, но оказалась запертой. Лукашевский вспомнил, что во время первой встречи Гостя это не остановило, хотя калитка тоже была запертой. Петр Петрович отодвинул засов, открыл калитку и выпустил Гостя за ворота.

"Прощайте, - сказал Гость, пожав Петру Петровичу руку. - Я почти все вам рассказал. Остальное вы узнаете сами очень скоро. Кроме одного. Я не должен был вам об этом говорить, но из благодарности к вам скажу. Помните ли вы мои

слова - конечно, помните! - о том, что на земле может жить только один человек. Так вот, этим человеком будете вы. В океане. Таков финал фильма. Люди уничтожат друг друга, а вы останетесь. Один. В океане. Дальше вы все решите без моего участия. Один! - крикнул он уже из темноты. - Один! В океане!" - и засмеялся.

"Сумасшедший, - вздохнул Петр Петрович. - Сумасшедший режиссер".

Никакого пролома в ограде Петр Петрович утром не обнаружил. Таким образом добрая часть объяснений Гостя лопнула, как мыльный пузырь. А заглянув в гаражный, забитый старым хламом погребок, он пришел к выводу, что человек в нем расположиться не смог бы - так в нем было тесно. Да и следов того, что в нем кто-то бывал, найти Петру Петровичу не удалось. Получалось, что Гость обманул его, хотя, кажется, из благих побуждений: хотел избавить от темных загадок и тревог перед дальней дорогой. Но неужели рассчитывал на то, что Петр Петрович не проверит его слова о проломе в ограде и о погребке? Наивный расчет. Даже глупый. Расчет сумасшедшего человека, который не может быть сумасшедшим. И человеком...

Рудольф помог Петру Петровичу вынести из дому и погрузить в машину вещи. Попросил у него в долг денег, но пожелал получить их продуктами из магазинов. Словом, обязал Петра Петровича привезти ему из райцентра хлеба, масла, колбасы, яиц и сигарет.

"А сами не хотите съездить? - предложил Рудольфу Петр Петрович. - Кстати, проверили бы на почте, не пришла ли из управления ваша первая зарплата. На обратном пути я, естественно, заехал бы за вами".

Рудольф с радостью согласился.

Перед отъездом зашли к Полудину справиться о здоровье.

"Спит еще, - сказала Александрина. - Кричал во сне. Я думала, что бредит. Но это был сон. Я разбудила его, и он успокоился. Ничего, никаких опасений".

Рудольф сел в машину с автоматом на плече.

"Зачем же оружие?" - спросил Петр Петрович.

"Не могу оставить. Не имею права. А вдруг похитят! Надежного сейфа нет. Это вы бросали свой пистолет и месяцами не вспоминали о нем. Рисковали, между прочим. Кстати, я и пистолет прихватил. По той же причине".

Лукашевский высадил Рудольфа у почты, а сам, никуда больше не заезжая, отправился дальше, на флотскую базу. Пообещал вернуться через пять часов красной подкладке...

Яхта была слажена на совесть. Мастер принял подарки с радостью - три костюма, золотые часы, серебряную табакерку, фотокамеру, портативный магнитофон японской фирмы "Сони", югославскую пишущую машинку, набор слесарных инструментов, токарный станочек, шкатулку из яшмы, люстру с хрустальными подвесками, мундштук из полудрагоценных индийских камней, еще одни часы, настольные с изящным вращающимся маятником и мелодичным боем, черный испанский плащ на красной подкладке... Мастер оценил все это добро и вычел их из суммы окончательного расчета. Разумеется, не обидел себя. Теперь Лукашевскому оставалось доплатить мастеру несколько тысяч. Работа, разумеется, стоила того.

"Если вы оставите мне машину, - сказал мастер, когда Лукашевский вез его из дока домой, - я больше ничего с вас не возьму. Более того, сам поставлю навигационные приборы. Очень хорошего качества. Подумайте. Ведь вам машина теперь нескоро понадобится, верно? Когда-то вы еще вернетесь из плавания..."

Петр Петрович пообещал подумать и пожалел, что этот разговор состоялся только сейчас. Скажи ему мастер об этом раньше, не было бы никаких проблем.



Теперь же он вынужден будет объясняться с Полудиным. С несчастным Полудиным, так нелепо потерявшим корову и деньги.

Квасову Петр Петрович подарил несколько цветных альбомов с видами Рима, Парижа, Мадрида и Афин. Впрочем, не совсем бескорыстно - опять попросил у него две канистры бензина.

"Слыхали про налет? - спросил Лукашевского Квасов за обедом. - На прошлой неделе какие-то конники окружили мою заставу, требовали оружие. Никакого оружия они, конечно, не получили. Мы их отогнали. Пришлось, черт возьми, стрелять. В воздух, разумеется. Но приятного было мало. Хочу отправить в город семью. Уже договорился с начальством. Ведь в следующий раз ситуация может сложиться серьезнее. Как вы думаете?"

Лукашевский ответил, что семью, конечно же, надо отправить в город.

Рудольф получил свою первую зарплату. Купил все, что намечал. Раздобыл даже несколько бутылок вина, чтобы обмыть, как он сказал, первую получку.

Дома их ждала новость. Александрина рассказала, что во время их отсутствия приезжала милиция и спрашивала, не появлялся ли здесь человек, который называет себя Режиссером.

"И что вы ответили?" - спросил Петр Петрович.

"А что я могла ответить? Ведь никакого Режиссера у нас не было. Вообще не было никаких гостей. Только конники появлялись, но конники милицию не интересуют".

Лукашевский взглянул на Рудольфа.

"А вы? - спросил он Рудольфа. - Вы тоже никого здесь не видели?"

"Только конников, - ответил Рудольф. - Больше никого".

Поставив машину в гараж, Лукашевский зашел за угол и увидел то, чего не увидел почему-то утром - кое-как заложенный камнями пролом в стене. Быстро вернулся в гараж, спустился в смотровую яму и заглянул в погребок. Там, среди разобранного хлама, было устланное соломой ложе, лежали пустые мешки, валялись консервные банки с сохранившимися остатками пищи.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Яковлев, как и обещал, позвонил в восемь часов.

"Итак, - сказал он торжественно, - ты можешь поздравить меня с обретением свободы!"

Лукашевский не понял о чем, собственно, идет речь, о каком обретении свободы, и попросил Яковлева выразиться яснее.

"Можно и яснее, - уже не так торжественно ответил Яковлев. - Но если говорить предельно ясно, то суть моего сообщения в следующем: меня сняли с поста председателя исполкома. Полностью и окончательно. Совсем. Отныне я, в смысле должностного положения, никто. Или, как любил выражаться сукин сын Чичиков, мечта".

"Поздравляю, - сказал Лукашевский. - Это большая удача, - но тут же, подумав, что его слова могут обидеть Яковлева, спросил: - А что случилось, Сережа?"

"А! - ответил Яковлев. - Весь Совет разделился на партии. Партии стали пытаться меня, за кого я. Я ответил, что за самого себя. Тут меня все дружно и сняли. Единогласно. Потрясающее и неожиданное единство. Во всем остальном они друг с другом на ножах. Такая вот история".

"Ну и черт с ними, - сказал Лукашевский. - Приезжай ко мне. Мы тут затеваем небольшой праздник - обмываем первую зарплату нашего охранника. Подождем тебя, если хочешь".

Яковлев ответил, что сейчас приедет.

Лукашевский встретил Яковлева у ворот, обнял его.

"Обойдемся без телячьих нежностей, - сказал Яковлев. - И вообще я рад случившемуся, ибо все осточертело".

Стол накрыли в доме у Петра Петровича. Постаралась, как всегда, Александрина. Сначала поздравили Рудольфа, затем Яковлева. Оба тоста произнес Петр Петрович. Потом слово взял Яковлев и предложил тост в честь Лукашевского и Полудина - за избавление от служебного бремени. А еще выпили за красоту Александрины: потребовал Рудольф. При этом Полудин так злобно взглянул на Рудольфа - особую злобность его лицу придали страшные синяки под глазами, что тот поперхнулся вином, закашлялся, замахал руками, а успокоившись, сказал, что теперь непременно надо выпить за дружбу, так как без дружбы, заявил он, жить невозможно.

Яковлев остался ночевать у Петра Петровича, благо что диван был свободен, так как Рудольф по своему обыкновению поднялся на маяк.

"Так что же произошло? - снова спросил его Петр Петрович, когда они остались одни. - Изобрази в картинках, а то я, знаешь ли, плохо представляю себе, что за катавасия там у вас заварилась".

"Скучно рассказывать, - ответил Яковлев, забираясь под одеяло. - Да и трудно изобразить, поскольку я в этом деле не мастак. Передрались все. Началось, как ты знаешь, с чепухи, с этих скифских баб на курганах. Откуда-то пошел упорный слух, что весной приедут киношники и будут снимать в наших степях потрясающий фильм о диких племенах, для чего привезут вагон денег. Для тех, кто станет сниматься в фильме, разумеется. Появились те самые клубы скифский, сарматский, готский, киммерийский. Потом еще печенеги, половцы, хазары и всякие прочие. Сначала это была только игра: выдумывали одежду, копались в истории, книгах.

Но вскоре, кажется, свихнулись на этом деле: члены скифского клуба начали, например, утверждать, что они настоящие скифы, происходят от древних скифских корней, нашли всевозможные доказательства этому и стали заявлять свое право на землю, на соблюдение скифских традиций и законов. То же самое произошло и с другими - с печенегами, готами, киммерийцами и прочими. Пошли ссоры, драки. Я за голову схватился. Стал их уговаривать, мирить, призывать к порядку. Никаких результатов! Подключил к этому делу своих депутатов. Но они не только не помогли мне, а сами, поверишь ли, ввязались в эту дурацкую игру и тоже разделились на племена, на партии. Одни стали представлять интересы скифов, другие - сарматов, третьи - печенегов, четвертые - гуннов. Словом, все полетело вдрызг. Скифы кричат: "Мы - самые древние на этой земле! Все здесь наше!". Сарматы кричат то же самое. Киммерийцы - тоже. И так - все! Я им на последней сессии сказал: "Дураки вы все - это точно. Самые древние и самые лучшие. И для вас есть лишь одна земля - земля дураков!" Не выдержал, терпение лопнуло. Тут меня и скинули. Вот такая, брат, картинка".

"Очень интересная картинка, - сказал Петр Петрович. - А Режиссер? Какова тут роль Режиссера?" - спросил он, помолчав.

"Загадочная, - ответил Яковлев. - Весьма, знаешь ли, загадочная. Он всем им является. Как только они на своих заседаниях доведут себя до белого каления, так он им и является. И произносит речь о превосходстве их племени. Они после его речей режут от восторга, как стадо быков. И пока режут, он исчезает. А вот еще какая чертовщина: все ждут, когда начнутся съемки фильма. Режиссер обещает

им, что скоро назначит этот день. Он называет его Днем Генеральной Репетиции. Разве не чертовщина? - Яковлев сбросил с себя одеяло и сел. - Я пробовал рассказать обо всем этом кое-кому в области, предупредить о возможных последствиях. Но никого это не колышет. У них там, конечно, свои проблемы. Машут на меня руками и смеются. Думают, наверное, что я чокнулся. Но чокнулся не я. Нет, не я! - Яковлев хлопнул по одеялу рукой. - Кабы я - какая беда? Но чокнулась сама кабыбка!" - Яковлев снова лег и закрыл глаза.

Лукашевский тихо вышел в другую комнату.

"Вернись, - позвал его Яковлев. - Хочу тебя спросить. Ответь мне, пожалуйста, - попросил он, когда Лукашевский вернулся и сел возле него. - Куда же подевались те племена - скифы, сарматы, киммерийцы, готы... Ведь- они жили здесь, на этой земле. А потом? Ушли, вымерли? Что с ними произошло? И вообще, могут ли народы исчезать, не оставив следа? Где они теперь? Не все же умерли или ушли?"

"Помолчи! - потребовал Лукашевский. - Разве ты ничего не слышишь? Кони!"

"Где? - привстал Яковлев. - Где кони?"

"Там, за окном. Скачут по степи. Разве ты глухой?"

"Да, - ответил Яковлев, прислушавшись. - Я слышу... - Он вскочил с дивана и принялся торопливо одеваться. - Это они. Я слышу".

Вбежал запыхавшийся Рудольф и приказал: "Погасите свет и отойдите от окон! Быстро! Они снова приближаются. Я встречу их на башне!"

Лукашевский понял, почему нужно погасить свет, и метнулся к выключателю.

"Верни мне пистолет!" - крикнул он Рудольфу, но Рудольф уже сбегал вниз по лестнице и не услышал его.

Лукашевский погасил свет, схватил Яковлева за руку и оттащил от окна к стене.

"Что это значит?" - шепотом спросил Яковлев.

"Это значит, что если они станут стрелять по окнам, то не угодят в нас".

Топот стремительно приближался. Уже отчетливо были слышны человеческие голоса, когда с башни ударила автоматная очередь.

"Он с ума сошел! - рванулся Яковлев, но Лукашевский удержал его. - Они же не стреляют! Что он делает?"

И, словно в ответ на его слова, посыпались на пол осколки оконных стекол. Что-то глухо ударилось о книжные стеллажи, запахло порохом.

Это длилось всего несколько минут - топот, крики, стрельба. Потом все разом смолкло. Лишь со стороны северного спуска еще какое-то время доносился удаляющийся цокот копыт.

"Ушли?" - спросил Яковлев.

"Ушли, - ответил Лукашевский и отпустил его руку. - Посиди здесь, приказал он Яковлеву. - А я наведаюсь на башню".

Полудин опередил Лукашевского. Он, кажется, даже стрелял, потому что стоял с переломленным ружьем, выковыривая из казенника застрявший патрон.

"Не ранены?" - спросил Лукашевский.

"Обошлось, - ответил Рудольф. - Но лупили здорово. Оптику, правда, пощадил".

Лукашевский видел это и сам: маяк продолжал светить, бросая в сторону повисшей над морем луны яркие бесшумные лучи.

"Не пойму, - сказал Полудин, перегнувшись через перила балкона. - Лошади есть, а всадников нет. Не могли же они испариться. Или у них были свободные лошади?" - он говорил о трех брошенных оседланных лошадях, бродивших за воротами. При свете полной луны они были хорошо видны. Поблескивала

металлическими пряжками сбруя, лоснилась на крупах шерсть, волочились по земле уздечки.

"Коней надо загнать во двор, - предложил Рудольф. - Наши трофеи".

"Один из них мой, - заявил Полудин. - Вот тот, с длинной гривой. Я сам сбил с него всадника. Бил дуплетом".

"И что? - спросил Лукашевский. - Где же всадник?"

"Об этом я и толкую. Исчез, - ответил Полудин. - Это странно".

"Так вы стреляли по людям?"

"А по кому же еще, - усмехнулся Рудольф. - Они - по людям, и мы - по людям. Или вы нас за людей не считаете? На войне, как на войне".

Лукашевский лишь потряс головой: все это походило на дурной сон.

Лошадей они завели во двор, расседлали. Полудин принес им сена - осталось в коровнике. Долго оглаживал длинногривого, называл его Скилуrom. Вышла из дому Александрина. Полудин велел ей принести для Скилура сахару. Спустился во двор Яковлев. Лукашевский накинул ему на плечи свое пальто, видя, как того разбирает дрожь, сказал: "Все обошлось: ни убитых, ни раненых. А трофеи славные".

Судя по всему, набег конников Рудольфа нисколько не встревожил, а трофеи только обрадовали. И вообще он чувствовал себя законным победителем, а не участником нелепой и опасной перестрелки. Да и Патудин, кажется, тоже. Зато Яковлев был подавлен, стучал пальцами по носу и время от времени спрашивал у Лукашевского: "Что ж это такое, Петя? Как все это понимать?" Петр Петрович в ответ лишь пожимал плечами. С трудом уговорил его лечь в постель. Лег и сам, поставив свою раскладушку рядом с диваном Яковлева. Но уснуть они так и не смогли.

Спуститься во двор Лукашевского заставили громкие голоса. Разговаривали, а вернее, кричали друг на друга Александрина и Полудин.

Еще стоя на железной лестнице, Лукашевский понял, что происходит: Полудин седлал своего Скилура, собираясь куда-то ехать, а Александрина пыталась помешать ему.

"Ты дурак! - кричала она. - Не смей! Подумай обо мне и о Павлуше! Ты пропадешь! И мы пропадем! Одумайся! Что ты затеял? Или ты спятил совсем? Не смей!"

Увидев Лукашевского, Александрина подбежала к нему, схватила за руку и потащила к Полудину.

"Остановите его! Петр Петрович! Скажите ему, что он свихнулся. Он решил уехать, чтобы отомстить бандитам! Но это же безумие! Петр Петрович! заплакала она. - Его там убьют!"

"Не убьют, - сказал Полудин, приторачивая к седлу сумки. - У меня ружье. А патронов хватит на всех... Я не смогу здесь сидеть! - закричал он зло. - Не подходите ко мне!"

Только теперь Лукашевский увидел Рудольфа, который стоял у ворот, держа у пояса автомат.

"Я его не выпущу, - сказал Рудольф, встретившись взглядом с Лукашевским. Убью лошадь!"

Полудин скинул с плеча ружье и двинулся на Рудольфа, загоня на ходу в казенник патроны. Скилуr пошел за ним.

"Выпустите его! - приказал Рудольфу Лукашевский. - Отойти от ворот! - и добавил, обратясь к Александрине: - Не убивайся. Никуда он не денется. Порыскает по степи, ничего не найдет и вернется. Остынет, дурь пройдет, и он вернется".

Рудольф, повинувшись Лукашевскому, отошел в сторону. Полудин вывел коня через калитку и вскачил в седло.

"Когда тебя ждать?" - спросил его Рудольф.

"Когда рак на горе свистнет", - ответил Полудин и ударил каблуками коня. Скилур взял с места в карьер. Александрина, рыдая от горя, вырвалась из рук Лукашевского и бросилась к воротам. Рудольф успел захлопнуть калитку и остановил ее.

"Черт с ним, - сказал он о Полудине. - Разве ты не заметила, что он стал совсем диким?"

Лукашевский подошел к Александрине, обнял ее за плечи и повел в дом.

Яковлев позвонил в милицию и сообщил о ночном нападении на маяк. Разговаривал с начальником милиции, своим знакомым. Попросил его выслать к вечеру наряд на тот случай, если налет повторится. Долго слушал ответ, потом выругался и бросил трубку.

"Что там?" - спросил Лукашевский.

"Хуже нашего, - ответил Яковлев. - Сожгли два дома и магазин. Я поеду. Мне надо! - повысил он голос, словно Лукашевский удерживал его. - Понимаешь? Надо!"

"Вольному воля, - сказал Лукашевский. - Поезжай, если надо".

Яковлев уехал. Пообещал позвонить.

Петр Петрович залил в бак электростанции последнюю канистру горючего и запустил двигатель.

"На сколько же хватит одной подзарядки?" - спросил его ходивший по пятам Рудольф.

"На три ночи", - ответил Лукашевский.

"Значит, в субботу погружаемся, как говорится, в полную тьму? - сделал вывод Рудольф. - Веселенькая история".

"Есть немного керосина для ламп, - сказал Петр Петрович. - Без света не останемся".

Перед обедом Петр Петрович наведился к Алек-сандрине.

Александрина увязывала в узлы одежду.

"Куда?" - спросил ее Петр Петрович.

"Куда-нибудь, - ответила Александрина. - Съезжу в райцентр. Может быть, удастся снять комнату. А что дальше - не знаю".

"Он скоро вернется", - сказал о Полудине Петр Петрович.

"Нет, - вздохнула Александрина. - Вы просто не знаете, как он переменялся с той поры, когда увидел на курганах скифских баб".

Лукашевский сказал Александрине, что поможет ей подыскать в райцентре квартиру и перевезти вещи. Разговор о Полудине не поддержал, хотя и сам замечал в нем перемены, о которых говорила Александрина: и грубость, и внезапные вспышки озлобления, и резкие диковатые жесты, движения. А как он пошел с ружьем на Рудольфа... Рудольф сказал, что убьет коня, а кого собирался убить Полудин?

После обеда Рудольф оседлал одного из коней и повел к воротам. "Тоже в степь, к половцам?" - спросил Лукашевский.

"Потренируюсь в верховой езде, - ответил Рудольф, надевая автомат на шею. - Не помешает". Петр Петрович не понял, что Рудольфу не помешает - тренировка или автомат на шее, - но переспрашивать не стал.

Двигатель электростанции заглох сам - громко чихнул, сделал паузу, затем снова слышались судорожные выхлопы и наступила тишина. Кончилось горючее. Лукашевский сбегал вниз, в аккумуляторную, и переключил рубильник. Подумал, что, может быть, в последний раз. Вздохнул: как-никак, но рукоятка

рубильника была отшлифована до блеска прикосновением его ладоней. Услышал телефонные звонки в аппаратной. Звонил Яковлев.

"Сожгли мой дом, - сказал Яковлев. - Разграбили и сожгли. Все сгорело".

"Возвращайся ко мне, - посоветовал ему Лукашевский. - Что тебе там делать?"

"Я должен найти поджигателей и упечь их за решетку".

"Брось, - сказал Лукашевский. - Все брось и приезжай".

"Ты так думаешь?" - помолчав, спросил Яковлев.

"Да. Я жду тебя".

"Может быть, завтра? - ответил Яковлев. - Сегодня я заночую у тети Сони. Надо же кое-что выяснить... И передать председательские дела".

"Уже есть новый председатель?"

"Есть".

"И кто же он?"

"Режиссёр, - ответил Яковлев. - Сумасшедший Режиссёр".

Рудольф возвратился без коня, таща на себе седло. Калитку открыл ногой, шибанул ее так, что она едва не сорвалась с петель. Сбросил на землю седло, утер рукавом пот и длинно выругался.

"Что случилось?" - спросил его Лукашевский.

"Убил я его, заразу, - ответил Рудольф. - Пристрелил. Он дважды сбрасывал меня на камни, все ребра переломал. Ну, я его и шлепнул".

"Коня?"

"Кого же еще? Коня, конечно, чтоб ему на том свете ни хвоста, ни гривы! И не делайте, пожалуйста, печальных глаз! Не делайте! - упредил он Петра Петровича, у которого уже готовы были сорваться с языка гневные слова осуждения. - Не надо мне ваших нотаций! Сыт нотациями, во! - провел он ребром ладони по горлу. - У меня реакция такая: ты бьешь меня, я - тебя. Не задумываясь, мгновенно. А я еще сдержался, когда он сбросил меня первый раз, пожалел его. А потом уж..." - Рудольф пнул седло ногой, затем взял за подпругу и поволол по земле к коровнику, ставшему конюшней.

"А труп? - спросил Петр Петрович. - Бросил на съедение воронам?"

"Акулам, - засмеялся в ответ Рудольф. - Труп я столкнул в море".

Бессмысленная жестокость Рудольфа покорила Петра Петровича. Он не был сентиментальным, но убийство красавца-коня не только опечалило и раздосадовало его, но и заставило вдруг по-иному взглянуть на Рудольфа. Он смотрел ему вслед и думал, что Рудольф и прежде чем-то не нравился ему. Теперь же он испытывал к нему отвращение. К его плотной атлетической спине, кривоватым ногам, большой голове, к коротким и сильным рукам. Вся фигура Рудольфа, казалось, обличала в нем убийцу...

Несколько секунд они в упор смотрели друг на друга. Первым отвернулся Петр Петрович. Рудольф опустил автомат.

До вечера Лукашевский возился с машиной - устранял мелкие неполадки, до которых прежде не доходили руки, помыл ее, закрасил царапины на кузове, заменил на двух колесах старые шины, очистил от ненужного хлама багажник, собрал в коробку все инструменты, долил в аккумулятор электролита - словом, приготовил машину для передачи новому хозяину. А заодно и простился с ней, оказав ей последнее внимание, последнюю ласку. Не уходил из гаража до тех пор, пока Рудольф не поднялся на башню, - не хотел с ним встречаться в доме. Включил маяк позже обычного, когда совсем стемнело. С минуту стоял в дверях и смотрел, как пронзают черноту густой весенней ночи празднично яркие лучи.

Позвонил на заставу Квасову, справился о здоровье, спросил о новостях. На здоровье Квасов не жаловался. Сказал, что отвез семью в город и теперь спокоен,

готов сразиться хоть с тысячью налетчиков. Похвастался тем, что командование пошло ему навстречу - усилило заставу людьми и оружием.

"Так что же вы теперь охраняете - границу или заставу? - спросил Петр Петрович. - Похоже, что заставу, так как со стороны моря на вас кажется, никто не покушается".

"Похоже, что так, - согласился Квасов. - Похоже, что наше положение является абсурдным. Минутку, Петр Петрович, минутку, - попросил он вдруг. Тут ко мне с донесением", - и положил трубку.

Лукашевский слышал, как Квасов с кем-то разговаривал, но слов разобрать не мог. Ждал долго. Решил было уже, что Квасов забыл о нем. Но Квасов не забыл. Подняв через несколько минут трубку, он сказал почему-то шепотом: "Опять налет, Петр Петрович. Опять налет. Мне

доложили, что человек двести. Свяжемся через час", - и опустил трубку на рычаг.

Лукашевский позвонил Квасову через час, затем еще через час, но телефон погранзаставы не отвечал. Лишь перед двенадцатью Квасов наконец откликнулся.

"Ну что?" - спросил его Петр Петрович.

"Отбились, - ответил Квасов. - Хотя было жарко. Потерь нет. Ни с нашей, ни с вражеской стороны. Но это очень странно... Понимаешь, били боевыми, а потерь нет. Остались только брошенные кони".

Яковлев ночевать у тети Сони не остался, приехал к Лукашевскому.

"Взвесил все и решил к тебе, - объяснил он свой приезд. - Чтоб не навлечь беду на дом тети Сони. А тебя не подожгут, у тебя лихой автоматчик на башне, у тебя стены высокие, у тебя - крепость".

"Крепость, да не для всех, - думая о Сумасшедшем Режиссере, сказал Лукашевский. - Для некоторых и высокие стены - не препятствие. Для нового председателя исполкома, например. Как же его избрали? - спросил он. - Не разыгрываешь ли ты меня?"

Яковлев не разыгрывал Петра Петровича. Все было так, как он сказал: новым председателем исполкома депутаты единодушно избрали Сумасшедшего Режиссера. Произошло это утром, в самом начале рабочего дня. Яковлев не был свидетелем этого события, так как приехал позже, но от тети Сони узнал, что Сумасшедший Режиссер явился к исполкому во главе огромной толпы, что в зал заседаний его внесли на руках под приветственные крики депутатов.

"Я хотел встретиться с ним, чтобы передать дела, - сказал Яковлев, - но не удалось: новый председатель, как сообщила мне моя бывшая секретарша, уехал в область представляться начальству. А еще она показала мне его распоряжение, в котором сказано, что съемки пресловутого фильма начнутся через пять дней. Завтра в газете должно быть напечатано его обращение к народу по этому поводу. Он призывает всех нас принять участие в съемках - собраться у курганов с недельным запасом воды и продовольствия. Мне сказал об этом редактор газеты. Текст обращения уже у него. В этом тексте есть, между прочим, такие слова: "Вы станете участниками величайшего исторического события двадцатого века". Как тебе это нравится, Петр?"

Лукашевский не ответил: пока Яковлев говорил, в комнату почти неслышно вошел Режиссер. Улыбаясь, он остановился у Яковлева за спиной и подмигнул Лукашевскому.

"Чего молчишь? - спросил Яковлев. - Или тоже сбрендил, как и все, не можешь слова сказать против Режиссера?"

"А ты оглянись", - сказал наконец Лукашевский.

Яковлев посмотрел через плечо и увидел Режиссера.

"А, - сказал он, совсем не удивившись, - так ты здесь? Отлично! А я - то гадаю, кто это околдовал моего друга, отчего он окаменел, как жена Лота, как птичка под взглядом змеи. Присаживайся, дорогой мой преемник. Нам есть о чем потолковать, не правда ли?"

Режиссер был в новом сталистого цвета костюме, в шляпе, при галстукке. От него пахло хорошими духами, Он был побрит и подстрижен. Его черные туфли блестели, словно по ним только что прошли щеткой. Он снял шляпу, бросил ее на подоконник и сел в предложенное Лукашевским кресло, закинув ногу на ногу. От прежнего ночного гостя в нем почти ничего не осталось: ни боли и усталости в глазах, ни ран на руках - руки у него теперь были белые и даже холеные, ни всклокоченных волос - словом, не было в нем ничего такого, что взывало бы к состраданию. Теперь это был вполне благополучный и со вкусом одетый человек, довольный собой, чуть ироничный и высокомерный.

"В сущности, толковать нам не о чем, - сказал он в ответ на слова Яковлева. - Ваш опыт мне никогда не пригодится, никаких ваших дел я продолжать не намерен, да и не могу. Я приехал сюда лишь затем, чтобы принести вам мои извинения за удар, который я вам невольно нанес. Ваше честолюбие сильно задето, но я обещаю вам некоторую компенсацию: вы, как и Петр Петрович, оказавший мне ряд добрых услуг, не будете задействованы в фильме. Вы оба останетесь свободными... от участия в моем фильме, - добавил он с улыбкой после непродолжительной паузы. - Это все, что я могу для вас сделать Впрочем, вы потом убедитесь, что это далеко не пустяк - быть свободными... Быть вне взрыва, вне возврата, вне исчезновения, сохранить человеческое достоинство... Надо ли объяснять? - спросил он, откидываясь на спинку кресла. - Или вы сами способны оценить происходящее?"

"Хотелось бы послушать", - ответил Яковлев и покраснел.

"Да, да, - поддержал его Петр Петрович. - Ваше объяснение было бы кстати. Если вы, разумеется, способны что-либо объяснить".

Последнее замечание Петра Петровича Режиссеру явно не понравилось. Лицо его резко изменилось, стало злым. Он наклонился вперед и, заглядывая в глаза Лукашевскому, спросил: "А вы, конечно, способны? У вас трезвый ум, вы наблюдательны, владеете логикой... Так? Впрочем, ладно, - махнул он рукой и снова откинулся на спинку кресла. - Не будем об этом. Мне хотелось бы проститься с вами без ссоры. Да, да, проститься. Потому что больше мы не встретимся. Может быть, увидимся, но не сможем поговорить... Итак, откликаюсь на вашу просьбу и пытаюсь кое-что объяснить. Первое: здесь - начало, здесь поджигается бикфордов шнур всеобщего безумства и вражды, разврата и уничтожения. Презрение к обычаям отцов, к заветам предков, к истинам истории, забвение братских чувств, отвержение всякой благодарности, долга, обязательств, болезненное себялюбие, дикая самовлюбленность- это взрывчатка, к которой подведен бикфордов шнур... Второе: я - только огонь. Огонь очищающий. Вы должны исчезнуть без крови и пепла. Земля останется чистой и живой. Для других - для птиц, для рыб, для лошадей, для трав... Кровь и огонь - как в кино, а после - чистый экран... Остановить? Предотвратить? - Режиссер произнес эти слова так, словно переспросил только что говорившего с ним Яковлева или Лукашевского, хотя на самом деле Яковлев и Лукашевский молчали. - Но как? Ведь это ваша неуничтожимая страсть залить все кровью и покрыть пеплом. Страсть к счастью, которое оборачивается несчастьем для всех; страсть к будущему, которое оборачивается диким прошлым; страсть к жизни, в основе которой смерть. Вы - роковая ошибка космоса. Мастера, учителя, который был послан к вам, вы убили. Вы абсурдны. Систему самообучения вы вырвали из своей души и растоптали. Вы идете по кругу жестокого саморазрушения. Но мы



оставили бы вас, когда б вы не разрушали и Землю. Вы отвергли Создателя, вы убили Учителя, и вот я - последний. Уводящий".

"Смерть?" - усмехнулся Яковлев: на лице его было написано, что ни одному слову Режиссера он не верит.

"Смерть? Нет, - ответил Режиссер. - Смерть - это муки, тление. Я - нечто иное. Я превращаю вашу жизнь в кино, и фильм заканчивается... - он встал и подошел к картине "Вид на пирамиду Хеопса". - Я превращаю вашу жизнь и вашу смерть, - продолжил он полуобернувшись к Яковлеву, - в изображение. Потом уничтожаю изображение. И в результате не остается ничего - ни предмета, ни образа его. Ничего. Это и есть очищение Земли. Абсурд вашей вещественности. Этой способностью едва не овладел Петр Петрович, когда ему впервые представилась вот эта картина - вид на пирамиду Хеопса из тени пирамиды Хефрена. - Режиссер при этом коснулся рукой багета. - Там возникала такая связь: вы создаете картину - и пирамида Хеопса, ее существование, оказывается в вашей власти. После этого оставалось лишь уничтожить картину, чтобы исчезла с лица Земли пирамида Хеопса. Вы были очень упорны в овладении этой способностью, Петр Петрович. Вы едва не овладели ею. Но я вам помешал, потому что такая сила - не для человека. Точно так же вы хотели воскресить Засто-жье. В нарушение известных вам законов. Вы были к этому очень близки. Воскресло бы не только ваше Застожье, но и ваши родители, и вы сами, Петр Петрович. То есть вас стало бы двое: нынешний и тот, что существовал в точке возврата... Вы доставили мне много хлопот, - Режиссер подошел к сидящему Петру Петровичу и положил ему руку на плечо. - Не сердитесь, Петр Петрович, но вам такая способность не нужна. Вы могли бы даже не знать, что обладаете ею. И вот по вашей вине исчезла бы пирамида Хеопса. И надежда великого фараона воскреснуть при встрече со звездой Губан. Для этого надо было лишь погибнуть вашей картине - сгореть, утонуть с вами в океане или разрушиться каким-либо другим способом. И что было бы с вами, если бы точно таким же образом по вашей вине вторично исчезло Застожье, умерли ваши родители и вы сами, но не нынешний, а тот? Вы оказались бы в разорванном времени - без прошлого и, стало быть, без будущего. Это состояние неизменного и бесконечного страдания. Как ад. Кстати, люди оказываются там не потому, что Бог таким образом наказывает их. Они сами становятся таковыми - отверженными временем, ибо преступают его. Я появился перед вами в тот миг, когда вы были близки к овладению способностью. Простите мне это невольное вторжение. И лишь раз я вторгся во владения Сергея Яковлевича. Но это была ошибка: мне показалось, что власть ваша очень сильна и что вы станете Киром, Навуходоносором, Дарием или еще кем-то в этом роде. К счастью, мы ошиблись".

"Вы сказали: мы ошиблись. Мы - это кто?" - спросил Яковлев.

"Мы? - Режиссер посмотрел на часы, прошелся по комнате, остановился возле письменного стола, перед "Застожем", какое-то время смотрел на картину, потом повернулся, присел на угол стола. - Мы - это вызванное вами возмущение космических сил. Вашими мыслями и делами. Возмущение в целях саморегуляции. Если хотите - ваша судьба. Та самая судьба, которая, как у вас здесь говорится, в ваших руках, - усмехнулся он. - Вы действительно сами творили свою судьбу. До той поры, пока ваше существование и смерть не грозили гибелью прекрасной планете со всеми прочими ее обитателями, вы имели счастливую судьбу. Теперь вы - и это тоже дело ваших рук - имеете несчастную судьбу. Роптать не на кого, некого винить. Ваша судьба безлична. В лучшем случае, вы можете винить самих себя. Я - не человек. Я только приемлемый для вас образ рокового для вас возмущения. И милостивого возмущения, ибо вы

уйдете в экстазе борьбы, самозабвенно, в предчувствии близкой победы, под возбуждающее пение боевых труб и под звон мечей... Разве это не милость?"

"А дети? А женщины?" - спросил Лукашевский, подумав о Павлуше и Александрине.

"Да, это вопрос, - Режиссер оглянулся на портреты Анны и Марии. - Это вопрос. Впрочем, зачем говорить об этом, если вы сами все увидите. Ведь я сказал вам, что вы останетесь вне взрыва. Вы досмотрите мой фильм до конца. Конечно, я обрекаю вас на небывалое одиночество. Но вы увидите Конец и то, что будет за ним - Новую Землю. Это знание стоит любых страданий. Впрочем, тяжелы только бесцельные страдания, когда в конце страданий - ничто: неведение и небытие. Ваше одиночество, ваши страдания будут вознаграждены знанием и жизнью. Но об этом нам следует договориться, - Режиссер вернулся в кресло, снова закинул ногу на ногу, обхватив руками колено, перевел испытующий взгляд с Лукашевского на Яковлева, с Яковлева на Лукашевского и спросил: Договоримся ли? Примете ли вы мой подарок, мою благодарность и извинения? Все же я отнял у вас то, что ранее принадлежало вам: способность и власть".

"Какая там власть, - вздохнул Яковлев. - Не власть, а рабство".

"Как Петр Петрович не осознал свою способность, так и вы, Сергей Яковлевич, не осознали свою власть, - возразил Режиссер. - Я упомянул тут имена великих властелинов: Навуходносора, Дария, Кира. Вы могли бы стать одним из них".

"Неплохо бы, - засмеялся Яковлев. - А то, понимаешь, всякая шавка на тебя лает, всякий прыщ тебе начальник..."

"Вот! - Режиссер поднял палец. - У вас до сих пор не угасла жажда власти. Мы анализировали один ваш сон, вашу выпавшую из-под контроля страсть и пришли к выводу, что Навуходносор для вас - не предел. Мы просчитали вероятность событий при условии, что вы осознаете свою страсть и дадите ей волю, и увидели нечто небывалое: реки крови, тучи пепла, жестокое рабство, агонию природы, превращение плоти в агрессивный бесчувственный механизм... Вы помните такой сон, Сергей Яковлевич?"

"Мало ли что мне снилось, - ответил Яковлев. - Никто не застрахован от кошмаров, особенно под этим делом", - засмеялся он, щелкнув себя пальцем по кадыку.

"И вы уже начали было набирать силу, - продолжал Режиссер, не придавая значения словам Яковлева. - Припомните, пожалуйста, как вы нагоняли порою страх на ваших подчиненных, как они трепетали перед вами, как жестоко вы расправлялись с непослушными. Было такое?"

"Может быть, и было, - согласился Яковлев. - Допекали меня - вот и орал. Обычная история".

"А как вы выставили за дверь делегацию готов, как они впали в уныние, распустили свой клуб и разбрелись по другим племенам? Помните?"

"Помню".

"Вам стоило сказать лишь одно слово депутатам, и они не только оставили бы вас на посту председателя, но и назначили бы полководцем, вждем, Навуходносором, Киром, Александром Македонским... Да, да! Лишь одно слово. И оно уже вертелось у вас на языке".

"Какое же это слово? - спросил Яковлев. - Я что-то не припоминаю. Скажите, если знаете".

"В том-то и дело, что вы забыли это слово. Я похитил его у вас. Отнял. Как отнял способность у Петра Петровича. Отныне ваше магическое слово и фантастическая способность Петра Петровича принадлежат мне. Взамен вы получаете мой подарок - вы остаетесь на Земле. У меня есть это право - одарить

вас. Вы оказали мне неоценимую услугу: способ, каким мы устраним возмущение, открыт вами. Он - в соединении власти, опирающейся на безумие крови, со способностью, превращающей реальность в образ, в видимость, в ничто".

"Отняли - подарили... О чем же договариваться? - спросил Лукашевский. Все уже сделано без нашего согласия".

"Нет, - ответил Режиссер. - Не все. Вы можете отказаться от моего подарка. И тогда участь всех - ваша участь. Хотя я не вижу в этом никакого смысла. В отказе от моего подарка, - уточнил он. - Вы уйдете, как все: в безумной драке".

"А почему бы вам не вернуть нам наши способности? - сказал Яковлев. - Мне - власть, ему - волшебство художника. Вы почему-то предполагаете, что мы употребим их во зло людям, природе и космосу. А если мы направим наши способности на благо? Разве нельзя допустить, что власть может опираться не на безумие крови, а на силу разума, волшебство же художника будет направлено не на уничтожение реальности, а на воскрешение лучшей... Разве это не способ устранить возмущение, которое вас так беспокоит? Саморегуляция, самонастройка системы без уничтожения узлов..."

"К вам приходил Учитель с проповедью разумного воскрешения, - ответил Режиссер. - Его звали Иисус. Вы его убили. Альтернатива разумному воскрешению - безумное уничтожение. Вы избрали уничтожение. Оно - ваша неизбежность. Мы привносим лишь малость: превращаем уничтожение в исчезновение, в уход. Этим лишь и ограничено наше вмешательство - проявлением милости к вам и Земле. Только милость. Остальное - неотвратимо".

"А если мы поднатужимся сами? - спросил Лукашевский. - Кто вам сказал, что мы так безнадежны?"

"Поздно, - ответил Режиссер и снова взглянул на часы. - Поздно, господа. И, стало быть, вопрос: вы принимаете мой подарок? Или избираете общую участь? Да или нет? Откровенно говоря, мне будет проще, если вы откажетесь от подарка: меньше хлопот, как говорится, потому что на съемочной площадке не будет зрителей, которые всегда так мешают и режиссеру, и артистам. Но и ваше присутствие не очень обременит, хотя мое внимание будет в какой-то момент раздваиваться - на артистов и на вас".

"Если я не приму подарок, то будет ли это означать, что я смогу вернуть мою способность?" - спросил Лукашевский.

"Нет, не значит! - резко ответил Режиссер и встал. - Какое упрямство, заговорил он, сердито ходя по комнате. - Какое ослиное упрямство! Ведь я вам, в сущности, обещаю рай: вечную жизнь на Новой Земле среди девственной природы, среди птиц, цветов, бабочек, лошадей, собак, где все есть для жизни, все в избытке и всегда, - Режиссер жестикулировал, словно говорил со сцены. - Вы будете жить с сознанием того, что вы включены в связь космических сил, в мировой разум, в гармонию высшей системы... Это сладость, которая ни с чем не сравнима. Вы не будете знать, что такое опасность, страдания, боль, страх. Вы станете вечными и чистыми, как кристаллы алмаза, Вашим гостем и собеседником будет Свет Вселенной..."

"Я вам не верю, - остановил Режиссера Яковлев. - Не верю, что вы тот, за кого себя выдаете. Какое там возмущение космических сил, какая там саморегуляция системы?! Ведь это чистой воды фантазия, дорогой мой преемник. А реально - вы обыкновенный авантюрист, да еще со сдвигом по фазе. Так мне кажется. Хотя в ваших фантазиях есть много интересного. Вы можете опровергнуть это мое мнение? Слова - не доказательство, а у вас нет ничего, кроме слов".

"Да, - вздохнул Режиссер. - Все повторяется, потому что неизменна ваша глупая натура. Вы требуете чуда в качестве доказательства... - Режиссер

остановился у окна, постучал по стеклу пальцами. - Но чуда не будет. В этом суть моего подарка. Вы должны принять его без всяких условий, если хотите принять. А нет - так нет, воля ваша... мне пора, и потому я спрашиваю в последний раз: вы принимаете мой подарок?"

Яковлев и Лукашевский переглянулись.

"Я не верю в вашу миссию, и потому говорю "да!" - сказал Яковлев. Посмотрю, как вы выкрутитесь из этого положения".

"Я верю в вашу миссию, и потому говорю "нет!" - ответил Лукашевский.

"Ну что ж, - сказал Режиссер, надевая шапку. - Вы оба отвергли мой подарок. Оба! И напрасно: вам предлагалась необыкновенная судьба, а вы поступили, как глупцы. Прощайте!"

"Вы сами за рулем, или вас возит мой бывший шофер?" - спросил уходящего Режиссера Яковлев.

Режиссер остановился.

"Или у вас другой способ передвижения? Скажем, как у Бабы Яги, - засмеялся Яковлев. - В ступе с помелом".

"Вы зря иронизируете, - ответил Режиссер. - Любой воображаемый способ передвижения мне доступен. Но вы остановили меня, конечно, не ради этого ответа. Вы задержали меня, чтобы продолжить разговор. Ваш отказ не является окончательным, не так ли? Ибо вы уже просчитали, как жалка будет ваша роль роль статистов, две точки в безликой исчезающей массе, - Режиссер вернулся и остановился возле кресла. - Ведь я вам не предложу никакой заметной роли, ибо вы непокорны. Вы исчезнете в толпе, она растопчет вас".

"Но мы не намерены участвовать в ваших дурацких съемках", - сказал Яковлев.

"Ваши намерения не имеют никакого значения, - усмехнулся Режиссер. Ровным счетом никакого. У вас нет ни малейшего шанса избежать общей участи. Вы это поняли и остановили меня, не правда ли? Отныне все в моей власти. И все же я жалею вас. Да, жалею, - Режиссер вздохнул и опустил в кресло. - Хотя чувства - это нечто чуждое для меня. Тут скорее расчет: вы помогли мне, я хочу помочь вам. Отняв у вас одно, я хочу дать вам другое. Вместо способности действия вы обретете способность существования. Так вообще одна форма энергии переливается в другую. Поэтому я вас пожалею..."

"Хватит! - потребовал Яковлев. - Ваши мистификации нам осточертели. Хотелось бы услышать, наконец, правду, а не эти ваши философские силлогизмы. Я требую, черт возьми, чтоб вы сказали правду! - Яковлев встал, подошел к двери и прислонился к ней спиной. - И вы скажете! Иначе я вас не выпущу!" пригрозил он.

"Прекрасно! - засмеялся Режиссер. - Это еще раз подтверждает, что власть ваша могла бы стать безграничной. И что такой же будет моя власть. - Режиссер встал и подошел к Яковлеву. - А теперь мы увидим, как вы не выпустите меня, каким способом вы сможете меня удержать..."

"Петр! - позвал Яковлев, - помоги мне справиться с этим... существом!" последнее слово он произнес с нескрываемой издевкой.

"А сам? - спросил спокойно Режиссер. - Сам не справишься?"

Лукашевский подошел к ним.

"Ладно, - сдался вдруг Режиссер. - Не драться же мне с вами. Это было бы крайне неприлично: председатель райсовета дерется со своими гражданами. Нонсенс! Нелепость! Я готов покориться, - сказал он, разведя руками и оборачиваясь к Лукашевскому. - Извольте, расскажу вам правду. Присядем?"

"Присядем", - ответил довольный собою Яковлев.

"Итак, правда, - заговорил Режиссер, когда все трое уселись в кресла. Чистая, грубая, неприкрытая... такую правду вы хотите?"

"Именно такую, - подтвердил Яковлев. - Чистую, грубую, неприкрытую и полную, без утаек".

"Но она вам известна, - сказал Режиссер. - Совсем недавно вы толковали о ней - о грозном голосе крови. Голос крови - голос ненависти и смертельной вражды. Нет эллина, нет иудея - есть человек. Человек должен ценить мысль и дело, а не звук мысли и запах пота. Звук мысли и запах пота - это кровь. А мысль и дело - душа. Там - зверь, здесь - человек. Чья кровь чище, чья кровь горячее, чья кровь старше, чья моложе, чья ценнее, чья дешевле, у кого она доброе вино, у кого - пресная вода, кто пролил ее на этой земле больше, кто меньше. Право крови - право зверя. Это вы знаете, об этом вы говорили. Это право возведено ныне в верховный закон. А надо было сделать верховным закон душевного и трудового братства. Этому тщетно учил вас Христос. И вот - две тысячи лет крови. Ни свет истины, ни мрак заблуждений не привели вас к прозрению. Вы душевно слепы. И во тьме, и на свету вы различаете лишь цвет крови. Мечь за кровь, вина крови - вот и все, что вами движет. И чем дальше, тем сильнее. Вас не останавливает ни вопль благоразумия, ни рык палача. Вечная война вместо вечного блаженства. Вы избрали этот путь, хотя были свободны. Вам дана была свобода творить светлый храм, а вы соорудили грязную бойню. Все формы кровавой ненависти испытали вы и теперь вернулись к самой дикой. А могли бы испытать все формы любви и остановиться на самой прекрасной - ради вечности. Скифы, половцы, киммерийцы, готы, сарматы, печенегы - это последнее дробление все возрастающей вражды, последнее перед концом, когда все восстанут против всех. Голос крови оглушил вас, цвет крови ослепил. Вы не слышите и не видите эха и отблеска распятой вами Истины. Вы - безумцы. Это и есть правда".

"А ты? - спросил Яковлев. - А ты кто?"

"Ну да, - сказал Режиссер. - Я все время отделяю себя от вас. И это вас беспокоит. А между тем я тоже принадлежу к роду человеческому... Но странным образом, потому что безумец среди безумцев".

"Конкретнее, пожалуйста", - попросил Яковлев и победно взглянул на Лукашевского: подтверждалась, казалось, его версия, что Режиссер обыкновенный мистификатор и авантюрист.

"Конкретнее? Но вы и об этом уже наслышаны - продолжал Режиссер, согласно кивнув головой. - Да, я хотел снять фильм. Но не "Вечная война", как здесь говорят, а "Последняя война". Еще недавно мы полагали, что последняя война атомная, что нас погубят классовые и идеологические распри. Но последняя война - к этой мысли пришел я, и жизнь подтверждает это - не идеологическая, не классовая, не война политических систем, государств, континентов. Последняя война - война крови, падение в дикость. Мне не давали снять этот фильм, меня преследовали, объявили сначала провокатором, затем просто сумасшедшим. И уже упрятали было в психушку..." - Режиссер вдруг замолчал и посмотрел на собеседников, как бы проверяя, какое впечатление произвели на них его слова.

"Ну, ну! - уже откровенно радуясь своей победе и улыбаясь, похлопал по колену Режиссера Яковлев. - Продолжай, продолжай! Теперь о том, как ты втерся в доверие наших болванов, как ты завоевал их симпатии, как внушил им безумные идеи".

"Я?! - Режиссер откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. - Ничуть не бывало. Разве я объявил соседний с вами район независимым государством? Разве я заблокировал атомную электростанцию в другом соседнем районе и прекратил подачу энергии в ваш район? Разве я организовал конные банды, которые теперь

нападают на погранзаставу, на флотскую базу, даже на ваш маяк с целью добыть оружие? Разве я создал так называемые политические клубы жаждущих крови дикарей? Нет, не я! Все это уже было, когда мне предложили миссию... Режиссер мотнул головой и тихо засмеялся. - Высокая миссия, страшная миссия..."

"Снять фильм?" - подсказал Яковлев.

"Да, да. Снять фильм "Последняя война".

"И это смешно?" - спросил Лукашевский.

"Нет. Смешно другое. Как они облекли меня этой властью, этой способностью, как возлагали на меня великую миссию. Да, да, я родился в гроте, я проламывал вашу каменную ограду, я проникал сквозь стены... Мне смешна была эта игра. Но им непременно нужен был правдоподобный образ, земная форма неземной власти... И даже это, последнее, они хотят видеть как вполне земную съемку фильма. Чтоб не стирать затем в душах погибших, превращенных в космическую пыль, память о милосердном вмешательстве... Так он и говорят... Вот и все, господа, - сказал Режиссер и встал. - Вот и все. Теперь прощайте, он подал руку сначала Яковлеву, затем Лукашевскому. - Впрочем, могу показать маленькое чудо, - задержал он руку Петра Петровича. - Вы ведь не возьмете с собой на яхту эту картину, которую вы так торжественно и изящно назвали "Вид на пирамиду Хеопс из тени пирамиды Хеф". Она вам не понадобится. К тому же вы побываете вскоре у египетских пирамид - для этого вам понадобится лишь войти в устье Нила. Этот маршрут включен в план вашего плавания. Словом, картина вам не понадобится. Поэтому я ее уничтожу. Но не физически, разумеется, а чудесным образом. Ваш друг требовал чуда. И вот чудо, - Режиссер подошел к картине, коснулся указательным пальцем вершины пирамиды Хеопса, и вся картина мгновенно исчезла. Теперь в раме на стене висело чистое белое полотно. - Вот так, словно извиняясь, улыбнулся он. - Это делается именно так. Прощайте, господа. Счастливого вам и вечного бытия". - Режиссер снял с головы шляпу, поклонился и вышел. Шаги его замерли сразу же за порогом комнаты. Лукашевский, преодолев оцепенение, подошел к двери и выглянул на веранду. Там никого не было.

Рудольф, к которому Петр Петрович и Яковлев поднялись на башню через несколько минут, на все их вопросы о человеке в машине отвечал, что никакого человека и никакой машины ни во дворе, ни вблизи маяка он не видел

"Вместо того, чтобы лезть ко мне с глупыми вопросами, - сказал Рудольф, зевая и потягиваясь, - могли бы принести мне бутылочку и поделиться со мной коньяком. Но заботы о ближнем вам, конечно, чужды, - принялся он философствовать. - Это - болезнь нашего времени. Хотя вы оба из другого века и могли бы кое-что помнить из заветов Иисуса Христа..."

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В степи расцветали дикие тюльпаны, ирисы, свистели суслики. Зависнув над гнездами, рассыпались трелями жаворонки. По утрам по росным травам, словно по морю, пролегала от солнца к западу сверкающая дорога. Пахло молодым чебрецом. И полынь, жесткая и прочная осенью, теперь пробивалась между камней нежными серебристо-зелеными кисточками. Восток не омрачался ни туманом, ни облаком. И лишь над морем, у самого горизонта, всплывали, распухая, белые послеполуденные облака, выстраивались в жемчужную гряду, и, чуть тронувшись к востоку, вдруг замирали, пропускали солнце, разбрасывая по небу его лучи, похожие на крылья огромной ветряной мельницы. Вода была еще прозрачной, как оптическое стекло, и холодной, как лед. Морской горизонт не

парил, не утопал в мареве, не зашторивался дымкой - четкий, как линия, проведенная тушью, он отрезал штилевое море от весенней небесной голубизны. Простор не отзывался эхом, но был гулким, словно над землей и водой и впрямь нависал свод, а не бездонная высь.

Лукашевский спустил на воду "Эллиниду" и прошелся на ней до флотской базы и обратно, пьянея от сладкого воздуха, тишины и простора.

"Анна-Мария" была уже на воде, стояла в небольшой тихой заводи, соединенной с заливом узким каналом, где у деревянных причалов теснились десятки лодок, принадлежащих ремонтникам и офицерам базы. "Анна-Мария" выделялась среди этих лодок, как лебедушка среди диких уток, гордо покачивала высокой мачтой и сверкала стеклами обрамленных бронзой иллюминаторов. Лукашевскому особенно приятно было узнать, что все необходимые приборы на яхте уже установлены, что сшиты паруса, каюта оборудована газовой плитой, баками для пресной воды и что уже опробована система управления и сигнализации. Петр Петрович привез и разместил в грузовом отсеке большую часть необходимых продуктов - соль, сахар, макароны, крупы, жиры, консервы, лук, чеснок, картофель. Привез также чемодан с одеждой, утюг, мыло и прочую мелочь. Прикрепил над столом в каюте портреты жены и дочери, а над входом "Застожье".

С разрешения Квасова сделал пробный выход в море. Ушел далеко, так что и берег утонул за горизонтом. И, видит Бог, не хотел возвращаться - так ему было хорошо. Однако вернулся: были у него еще дела на земле.

Возвращаясь с флотской базы, Лукашевский подгрел к Главному Гроту. Мысль о том, что надо - на прощание! - побывать в Главном Гроуте, возникла у него еще утром, когда он проходил мимо него на "Эллиниде". Решив заглянуть в Грот на обратном пути, он приготовил электрический фонарь с сильной лампой и резиновые сапоги. С пистолетом Макарова он вообще теперь не расставался, уговорив Рудольфа вернуть ему пистолет на время, до отплытия: на дорогах и в окрестных селах участились случаи нападения и грабежей, хотя Лукашевского Бог миловал. Но все возрастающее беспокойство, что кто-то помешает его отплытию - чувство, знакомое ему и ранее - заставляло его быть предусмотрительным: он опасался нападения, опасался простуды, аварии.

Посещение Главного Грота было одним из тех дел, от которых предостерегал его внутренний голос. Но покинуть навсегда мыс, не проверив, точно ли в одной из ниш Главного Грота есть боковое углубление, о котором рассказал ему Ночной гость - Сумасшедший Режиссер, Лукашевский не мог: он знал, что потом, где-нибудь в океане, вспомнит однажды разговор о нише и будет досадовать на то, что не побывал в гроте и не проверил, точно ли в одной из них есть боковое углубление, в котором прятался, если верить ему, Ночной Гость.

Лукашевский поставил на носовую банку включенный фонарь и, тихо гребя, вошел под свод грота. Миновав колодец, он быстро достиг тупика, забросил на площадку якорь, уложил на дно весла и, надев резиновые сапоги, спрыгнул на мокрые камни. Страхуясь от случайностей, он вытащил "Эллиниду" на пологий скос, закрепил якорь в расщелине и, взяв фонарь, осветил стену. В ней было четыре ниши. Лукашевский начал осмотр с той, в которой в прошлое посещение грота стояла горящая свеча. Ниша была неправильной формы. Она напоминала собой скорее углубление, оставшееся в стене от вывалившегося из нее большого камня. И лишь пол ниши был ровным. Чтобы сделать его таким, кто-то хорошо потрудились кайлом. Следы этой работы были заметны еще, и теперь.

Пол ниши возвышался над площадью сантиметров на сорок. Лукашевский шагнул в нишу и осветил ее боковую, стену, которую с площадки разглядеть не удавалось, так как ее загораживали зубья выступающих по переднему краю

каменной. И увидел углубление. Судя по всему, то самое, о котором говорил Гость. А точнее - довольно широкую щель от пола до потолка ниши, в которую свободно можно было войти. Щель была глубокая. Лукашевский сделал три шага, прежде чем достиг конца. Повернув фонарь, от тут же увидел, что щель не кончается, а лишь резко поворачивает вправо, врезаясь в глубь мыса узким восходящим ступенчатым коридором. Открытие было столь неожиданное, что у Лукашевекого поползли по спине холодные мурашки. Ни в каких росказах, ни в каких местных легендах об этом коридоре не упоминалось ни словом, хотя обнаружить его мог любой "дикарь", забравшись в грот с фонарем или свечой. Неужели никто не удосужился до сих пор подняться в нишу и осветить ее боковую стену? Впрочем, и сам Лукашевский, проживший шесть лет на мысе в двухстах ярдах от Главного Грота, ни разу не попытался сделать это - не хватило романтического любопытства. А требовалось именно оно, романтическое любопытство, потому что местечко здесь было мрачноватое, даже жуткое: низкий, словно провисший под

тяжестью стометровой скалы потолок, из трещин и нависающих камней которого постоянно капало, осклизлая мокрая площадка, темные провалы ниши, могильный холод и такая страшная удаленность от входа, от света, такая засасывающая, словно топь, глубина.

Коридор вел вверх. С первых же шагов Лукашевский убедился, что это не трещина, не естественная пещера, а пробитый человеком туннель - на стенах и на ступенях ясно были видны следы кайла. Туннель был узок, два человека в нем, вероятно, с трудом разминутся бы, но через каждые пятнадцать-двадцать ступенек в нем были вырублены широкие, метра в два, проходы, где идущие навстречу друг другу могли не только разминуться, но и пронести без помех какую угодно поклажу - мешки, корзины, ящики, бочки.

Лукашевский поднимался медленно, часто останавливаясь, сосредоточенно вслушиваясь, в гробовую тишину. Она была именно такой, другого определения для нее Лукашевский подыскать не мог. Да и не искал, кажется, потому что это пришло сразу, упало холодным комом в душу и не оставляло его да конца. Конец же был до безобразия прозаичным - туннель привел Лукашевского в цокольную часть башни, где издавна хранились кадки с известью, пустые бочки из-под горючего, коробки с краской, дрова, уголь, завезенные на маяк еще во времена царя Гороха, до электрификации и газификации. Лукашевский толкнул ногой деревянную дверь, преградившую ему путь. Дверь с грохотом рухнула, и он увидел, что находится у входа а давно знакомый склад. Потом, уже войдя в склад, он поднял дверь, и закрыл ею вход в туннель. Эту дверь он видел десятки раз, но всегда принимал ее за хлам - за старую, принесенную откуда-то и прислоненную к стене дверь, которую в свое время поленились изрубить на дрова.

"О! - встретил его удивленным возгласом Рудольф, седлавший у конюшни лошадь. - И вы уже, оказывается, научились проникать сквозь стены?"

"А кто еще? - спросил раздосадованный Петр Петрович: обнаружь он Рудольфа секундой раньше, он, пожалуй, не стал бы покидать склад и дождался бы, когда Рудольф уедет.

"Да есть тут один, - усмехнулся в отрет Рудольф, - Ох, поймаю я его, пригрозил он, - и выпытаю, зачем он здесь шастает... Калитка-то на засове, сказал он, нахмурившись. - Как вы вошли?"

"Не твоё дело, - ответил Лукашевский. - По воздуху".

Петр Петрович испытывал счастье при одной мысли, что скоро расстанется с Рудольфом, с этим помешанным охранником и конеубийцей, омрачавшим его жизнь одним своим присутствием.



"А вот не верну ему пистолет, - подумал Лукашевский. - Пусть потом отчитывается перед управлением как знает".

"А все-таки? - привязался Рудольф. - Как же вы вошли?" - он перестал возиться с лошадьёю и уставился на Петра Петровича злыми немигающими глазами.

"Точно не верну", - окончательно решил Петр Петрович и сказал: "Перелез через ограду, потому что вы, как болван, заперлись изнутри на засов и оглохли".

Едва он это произнес, как в ворота кто-то постучал - грубо, словно ногой ударил, окованным башмаком. Ударил раз, другой, третий...

"Кто там?" - громко спросил Рудольф, снимая с шеи автомат. Никто не ответил, но стук повторился.

"Посмотрите с башни", - посоветовал Рудольфу Петр Петрович.

Рудольф не послушался, приблизился на цыпочках к воротам, нажав плечом на калитку, посмотрел в щель. "Надо же! - вдруг засмеялся он весело. - Еще один конь! Стучит в ворота копытом, просится на постой!"

"Присмотрись, нет ли рядом всадника", - сказал Петр Петрович и сам направился к башне. Рудольф поспешил за ним.

Оседланный конь был без всадника. Петр Петрович сразу же узнал его: это был Скилур, конь, на котором ускакал в неизвестность Полудин.

"Что будем делать? - спросил Рудольф. - Если мы впустим его во двор, Александрина тоже узнает его".

"Выйдем, обыщем и привяжем где-нибудь за оградой. А ночью заведем в конюшню - не пропадать же животному. Утром я отвезу Александрину в райцентр".

В сумках, притороченных к седлу, они нашли кусок черствого хлеба, измызганный шматок сала и смятый обрывок газеты, на котором наспех было написано синим карандашом - карандаш также нашли в сумке: "Хана мне, братцы! Смерть печенегам!"

Пока возились со Скилуrom, из ворот выглянула Александрина и узнала коня.

"Где же мой муж? - спросила она спокойно, подойдя к Лукашевскому. - Сложил голову в ковыльных степях?"

"Ну зачем же так, - ответил Петр Петрович. - Конь - существо живое и от нерадивого хозяина всегда может убежать".

Найденную записку Александрине не показал. Решил, что завтра сам зайдет в милицию и приложит записку к заявлению о розыске пропавшего Полудина.

Яковлев, прочитав записку Полудина, сказал: "Вот оно. Смерть печенегам. В этом есть главное зло. В этом вся опасность происходящего".

Пока Лукашевский плавал на базу, Яковлев несколько раз звонил в райцентр разным своим знакомым и выяснил, по его словам, что жители поселка заколачивают в своих домах окна и двери, собираясь отправиться в воскресенье на съемки.

"Зачем же заколачивать окна и двери?" - удивился Петр Петровиче

"Так ведь отправляются всеми семьями, с продуктами, на неделю, в поселке никого не останется. Уже закрылись все учреждения и предприятия, потому что на работу никто не ходит. То же самое происходит в окрестных деревнях".

"А тетя Соня? - всполошился Лукашевский. - Тетя Соня, надеюсь, останется дома, ведь завтра я должен перевезти к ней Александрину, как договорились".

"Тетя Соня тоже, - тяжело вздохнул Яковлев. - Говорит, что ей страсть как любопытно посмотреть съемки, что раньше она никогда на съемках не бывала и, может быть, никогда уже не побывает. К тому же всем якобы обещано, что каждый увидит себя в кино", - Яковлев повертел у виска пальцем и снова вздохнул.

"Стало быть, переезд Александрины откладывается", - заключил Петр Петрович.

"Стало быть, так, - подтвердил Яковлев. - Знаешь, Петя, - он взял Лукашевского под руку и повел к окну. - Я попытался также связаться с областью, но безуспешно. Телефонистка на станции мне сказала, что у них там тоже начались беспорядки, днем и ночью в разных Местах города идут митинги и потасовки, - они остановились у окна, на подоконнике которого лежал бинокль Лукашевского. Яковлев поднес его к глазам и продолжал: - Я целый день наблюдаю за курганами,

но там ничего не происходит, нет никаких приготовлений к съемкам".

"Да ведь и не будет никаких приготовлений, - сказал Лукашевский. - Ты все думаешь, что Режиссер нас разыграл. Нет, Сережа, нет. Он говорил правду. Человеческая жизнь бессмысленна и враждебна Природе. У нее должен быть конец..."

"Замолчи! - потребовал Яковлев. - Ты рассуждаешь, как мизантроп. стыдно, брат!"

"Убить его надо, - помолчав, заявил Яковлев. - Да, да! Не удивляйся. Но не мы должны это сделать, не ты и я, а народ. Объясню почему: если мы убьем Режиссера, народ не успокоится. Сами мы, пока Режиссер жив, тоже не успокоим народ. Лишь убрав Режиссера, народ осознает гибельность вражды. Помнишь, распяли Христа и не приняли жизнь вечную. Дураки, конечно. Теперь надо распять Режиссера и не принять смерть вечную... Логично? Логично, - сам себе ответил Яковлев. - Даже более логично, чем ты думаешь: не примем одно, отвергнем и другое - обойдемся без милости небес, устроим свою жизнь сами, ведь мы свободные и гордые существа. Понимаешь?"

Почистили вдвоем картошку, поджарили ее на сале, ели с солеными огурцами. Пригласили на ужин Рудольфа - Яковлев настоял. Лукашевский хотел разложить картошку по тарелочкам, но Рудольф сказал, что любит есть картошку прямо из сковородки. В итоге он едва ли не один съел всю картошку, потому что ни Петр Петрович, ни Яковлев не поспедали за ним: такой хороший был у него аппетит.

"Слушай, Рудольф, - сказал Яковлев, когда Петр Петрович разливал чай. - А смог бы ты убить человека, заведомого преступника, который лично тебе ничего плохого не сделал?"

"Запросто, - не задумываясь ответил Рудольф. - Преступники, отступники, заступники - все они шваль. Всех их надо к стенке, чтоб не путались под ногами".

"Под ногами у кого?" - спросил Лукашевский.

"У честного трудового народа, - ответил Рудольф. - Разве не так? Но почему вы меня спросили об этом? - повернулся он к Яковлеву. - Есть задача?"

"Есть, - кивнул головой Яковлев. - Задача есть, решения нет".

"Поручите мне", - сказал Рудольф.

Яковлев посмотрел на Лукашевского, как бы спрашивая, стоил ли посвящать Рудольфа в дело, которое они недавно обсуждали.

"Сергей Яковлевич развлекается, - сказал для Рудольфа и вместе с тем для Яковлева, Лукашевский. - Он изучает твой характер. От безделья, как ты понимаешь. Все мы здесь узники безделья".

Позже, когда Рудольф ушел, Лукашевский накинулся на Яковлева с упреками.

"Если он человек, - сказал Петр Петрович о Режиссере, - то его убийство стало бы тяжким преступлением. А если он не человек, то это был бы вызов силам, возможно, столь грозным, какие мы и вообразить себе не можем".

"То есть, как это не человек?! - взвился Яковлев. - Как это не человек?! Ты со мной в сказки не играй, пожалуйста! Эк куда тебя занесло! Не человек... А кто же он по-твоему? Черт, дьявол, нечистая сила? Это же смешно, Петя! Ладно, когда

философствуем, чего только нельзя допустить - и Бога, и Сатану... Но речь-то идет о конкретном человеке, мы оба его видели, разговаривали с ним, шупали его... Это ж как надо распустить себя, чтобы верить в реальность чертовщины! Человек он! Псих, мерзавец, авантюрист, шарлатан, преступник, но человек! И от этого надо плясать".

"И ты решил, что его можно убрать руками Рудольфа?"

"Какое тебе дело до того, что я решил? Ты здесь - отрезанный ломоть, ты уплываешь, отправляешься на поиск высокой истины, смысла бытия, источников веры и бессмертия, а мне здесь жить. И Рудольфу тоже. А потому мы решим без тебя, как нам здесь жить и действовать. Да, без тебя!"

Яковлев набросил на плечи плащ и ушел.

Петр Петрович убрал со стола посуду и сел у окна, обращенного к морю. Закат пылал в добрую треть неба, был безоблачным и багряным, словно над пустыней, над горячими песками, и предвещал ветер. Ветер с востока. Сильный попутный ветер для "Анны-Марии"...

Наверное, он так и просидел бы до темноты, когда не одна забота: надо было сказать Александрина, что ее переезд в райцентр отменяется и переносится на другой срок, на какой, Петр Петрович не знал.

Александрина встретила его неожиданно холодно. Не пригласила сесть, вытолкала в соседнюю комнату Павлушу, стала перед Петром Петровичем, скрестив руки на груди, и поглядела, нахмурившись, в глаза.

"Плохая новость, - сказал Петр Петрович. - Тетя Соня, как сообщил мне Яковлев..."

"Он и мне это сообщил, - не дала договорить Александрина. - К тому же я решила, что останусь здесь".

"Но чем же вы будете жить?" - спросил Лукашевский.

"Как-нибудь, - ответила Александрина. - К вам за помощью не приду". - С этими словами Александрина отвернулась и стала смотреть в окно.

Петр Петрович никак не мог объяснить себе столь резкую перемену в настроении Александрины.

"Что-то случилось, Александрина?" - спросил он.

"Ничего не случилось, - ответила она. - Просто я сделала одно печальное открытие: здесь каждый думает только о себе, до других никому нет дела, чужая беда никого не трогает".

"Вы так думаете?"

"Я в этом убедилась. Словом, спасибо вам за прошлые заботы, а о новых, я вас не прошу. Прощайте, Петр Петрович".

"Прощайте?! Но до моего отплытия еще добрая неделя".

"Может быть. Но завтра утром я отправлюсь на поиски Полудина".

"С Павлушей?"

"Да, с Павлушей!" - с вызовом ответила Александрина.

"Пешком? Куда?"

"Уходите! - потребовала Александрина. - Прошу вас, уходите!"

Лукашевскому показалось, что Александрина вот-вот заплачет. Он шагнул к ней и взял за руку. Александрина вырвала руку и ударила его по лицу. И пока опешивший Петр Петрович, задохнувшись, стоял, ничего не видя и не слыша, Александрина бросилась в другую комнату и захлопнула за собою дверь.

"Получил, старик?" - заржал за спиной у Лукашевского Рудольф. - Ладно, ладно, не ты один получил, - отступил за порог Рудольф видя, с каким грозным намерением двинулся на него Лукашевский. - Другие тоже получили по мордам, которые моложе и решительнее вас..."

"Паршивый щенок!" - выдохнул, проходя мимо Рудольфа, Лукашевский.

Рудольф сильно толкнул его плечом, но Лукашевский устоял, удержавшись за дверную ручку, мгновенно развернулся и послал ему в подбородок такой апперкот, что Рудольф рухнул, как подкошенный. Лукашевский хотел уйти, но, заметив, что Рудольф не приходит в себя, нагнулся над ним и получил удар ногою в живот. Падая, он сбил с табуретки ведро с водой, и лишь это обстоятельство спасло его от второго удара - Рудольф, вскочив, поскользнулся на мокром полу и, проехав по нему, как по льду, на животе, уткнулся головой в колено Лукашевскому.

Лукашевский тут же воспользовался этим и заключил Рудольфа в глухой замок. Рыча и крихтя, они с минуту катались по мокрому полу. Наконец Рудольф, поняв, что ему не вырваться, сказал перестав сопротивляться:

"Ладно, твоя взяла, старик. Отпусти".

На шум вышла Александрина и включила в коридоре свет. Лукашевский и Рудольф поднялись с пола растрепанные и мокрые.

"И вы озверели, - сказала Александрина. - Все озверели".

Часов до трех ночи Лукашевский не спал, но встал рано, чуть свет. Вывел из гаража машину, и принялся возиться возле нее, без надобности, лишь для того, чтобы быть во дворе и не прозевать момент, когда Александрина выйдет из дому с Павлушей, чтобы отправиться, как она заявила вчера, на поиски Полудина.

Теперь он уже не знал, точно ли скажет ей то, что решил ночью. А решил он сказать ей, что готов взять ее с собой в плавание. Ее и Павлушу. Разумеется, это была безумная идея: взять с собой в кругосветное плавание чужую жену и чужого сына. Безумная с точки зрения блюстителей тех формальностей, которые неизбежно встали бы перед Лукашевским, если б он вознамерился осуществить эту идею. И все же принял такое решение. Положился на случай, на то, какой предстанет перед ним Александрина, качнется ли ее душа навстречу ему или окатит его холодом, прочтет ли он в ее глазах радость или тоску... А если любовь, то уйдет с нею сегодня же, минуя все погранзаставы!

Спустился с башни Рудольф и подошел к нему, покашливая.

"Простудился, что ли?" - спросил Петр Петрович, вкладывая в интонацию свое недружелюбие.

Другой человек, услышав, что к нему так обращаются, сразу же ушел бы, но Рудольф - деревянное ухо и суконное сердце - и не подумал уйти.

"Так вы мне горло вчера чуть не раздавили, - сказал он. - Совершенно железный захват. Я не ожидал. Такая ловкость и сила в шестьдесят лет?!"

"Много говоришь, - остановил его Петр Петрович. - Отвлекаешь от дела".

"Так ведь никакого дела у вас нет, - усмехнулся Рудольф. - Вытирать чистый мотор - разве это дело? Вы просто ждете, когда выйдет Александрина, - вот ваше настоящее дело, - сказал он вдруг. - Только и это напрасно. - Рудольф зевнул и перекрестил рот. - Потому что она не выйдет".

"Это почему же?" - насторожился Лукашевский, успев подумать Бог знает что.

"Потому что она спит, - весело ответил Рудольф. - Спокойно спит. После брачной ночи".

"Не понял!" - Лукашевский захлопнул капот и сунул руки в карманы плаща, наткнувшись правой рукой на холодную сталь пистолета.

"А что тут понимать? - крутнулся на одной ноге Рудольф. - Я и Александрина стали мужем и женой. Обычное дело. Впрочем, можете поздравить".

Лукашевский долго молчал, потом оперся спиной о машину и спросил: "А если вернется Полудин? Ты убьешь его или он тебя?"

"Он не вернется, - ответил Рудольф. - Даже если захочет".

"Ну, ну, - сказал Петр Петрович, чувствуя, как замирает в нем жизнь, как холодеет и останавливается сердце. - Ну, ну..." - он оттолкнулся от машины и,

пройдя, словно во сне, несколько шагов, ухватился за холодные поручни железной лестницы.

"Тебе помочь, старикашка? - засмеялся гундосо Рудольф. - Как я тебя, а? Это почище, чем удар в зубы".

Его следовало бы убить. И Петр Петрович готов был сделать это - стоило лишь опустить правую руку в карман, взвести курок пистолета и выстрелить. Он, пожалуй, даже не промахнулся бы.

Не оборачиваясь, Петр Петрович поднялся на веранду и уже там, упершись лбом в стену, замычал от ярости и тоски.

Яковлева будить не стал, выпил чаю один. Затем перенес в машину последние вещи, отобранные для "Анны-Марии" и, разбудив Яковлева, сказал ему, что уезжает на базу.

"Когда вернешься?" - спросил Яковлев, потягиваясь.

"Не знаю, - ответил Лукашевский. - Может быть, не вернусь. Все, что осталось здесь, в доме, естественно, твое: книги, электроприборы, мебель. Тебе здесь жить. Рудольф мешать не станет: он ушел к Александрине. Женится на ней, - усмехнулся горько Лукашевский. - Где у меня хранятся продукты, ты знаешь. Словом, живи, Сережа".

Ошарашенный Яковлев с минуту таращил на него глаза, потом соскочил с дивана, принялся торопливо одеваться.

"До ворот провожу, - сказал он Лукашевскому. - Но как же так? Как же так? Боже мой, уже уезжаешь. Прямо сейчас?"

"Но ведь только на базу. Не совсем. Через неделю подойду к мысу на яхте. Если будешь здесь, еще повидаемся. В следующую пятницу. Запомнил? В пятницу".

Яковлев проводил Петра Петровича за ворота.

"Уж и не знаю, - сказал Лукашевский, выйдя из машины, - стоит ли нам обниматься на прощанье".

"Стоит, - ткнулся Яковлев лицом в его грудь. - Все же мы были друзьями".

Они обнялись. Потом Петр Петрович молча сел в машину, захлопнул дверцу, опустил стекло и сказал Яковлеву:

"Не впутывайся, пожалуйста, ни в какие истории. Хотя бы до пятницы. Я буду очень ждать, что ты помашешь с мыса мне рукой".

Он решил ехать через райцентр, а не через южную долину, хотя дорога через райцентр была длиннее: хотел своими глазами увидеть, что там происходит. И хотя демоний предупреждал его о том, что делать этого не следует, любопытство взяло верх. И еще одно тайное желание влекло его в райцентр: он надеялся еще раз повидаться с Режиссером. Зачем была нужна ему эта встреча он, пожалуй, не смог бы толком объяснить и самому себе. Было лишь смутное предчувствие или надежда, что разговор с Режиссером, возможно, изменит что-то к лучшему.

Лукашевский увидел скачущих навстречу ему всадников и невольно притормозил, сбавил скорость. Всадники - их было человек десять - неслись галопом, словно наперегонки, и, кажется, не собирались уступать дорогу, заняв ее во всю ширину. Они выскочили из балки перед плато курганов и теперь стремительно приближались в облаке пыли, гикая и размахивая нагайками. Петр Петрович съехал на обочину и остановился, подняв на всякий случай боковое стекло и заперев изнутри дверцы. Когда всадники были от него метрах в ста, он понял, что они скачут к нему, что он - цель их набега. Он вынул из кармана пистолет, снял его с предохранителя и зажал между коленями.

Они налетели на него вместе с облаком пыли, окружили машину, возбужденно крича и стегая по кузову плетьюми.

Лукашевский припустил левое боковое стекло и крикнул:

"Какого дьявола? Что за шуточки?"

Один из всадников спешил, передал поводья соседу и подошел вплотную к машине. Запыленное лицо, белые зубы, воспаленные глаза. Одет он был черт знает во что, перетянут вкось и поперек ремнями. На боку у него болталась то ли сабля, то ли меч, за спиной висел лук.

"Вылезай, старая лягушка!" - приказал он Лукашевскому, сопроводив свои слова выразительным жестом, и стегнул нагайкой по стеклу.

Петр Петрович не двинулся с места. Тогда предводитель банды отстегнул меч - это все-таки меч, а не сабля - и поднял его над головой, давая понять, что сейчас начнет рубить машину. Остальные всадники тоже спешили и схватились за мечи, ожидая команды предводителя.

Петр Петрович опустил стекло до конца и сказал:

"Вы что, ребята? Спятили? Это же разбой!"

"Это разбой! - захохотал предводитель, поддержанный дружным гогомом остальных. - Это и есть настоящий разбой!"

"А чего вы хотите? - спросил Петр Петрович. - Отнять машину или меня изрубить на бифштекс?"

"И то, и другое, - ответил предводитель. - И то, и другое! - закричал он свирепея. - Смерть белым лягушкам!"

"Смерть белым лягушкам!" - заорали остальные, да так громко, что кони шарахнулись от их рева. Предводитель отступил на шаг и со всего маху грохнул мечом по кабине.

Петр Петрович нажал на газ и рывком бросил машину вперед. Он умел это делать набирать скорость с места. Теперь же он не жалел ни муфту сцепления, ни коробку передач. Пока конники вскочили в седла, он мчался уже на четвертой скорости, и стрелка спидометра покачивалась за отметкой "100".

Банда прекратила преследование уже через несколько минут. Убедившись в этом, Петр Петрович проехал еще с десяток километров, остановился и вышел из машины, чтобы поглядеть на вмятину, оставленную мечом предводителя. Каково же было его удивление, когда никакой вмятины на кузове он не обнаружил. От такого удара следовало ожидать не только вмятину, под ним металл должен был лопнуть, разорваться. И Петр Петрович уже переволновался мыслью о том, как отнесется к повреждению кузова корабельный мастер - ведь машина уже принадлежала ему. И вот оказалось, что волновался зря: на кузове не было ни царапины. Не осталось и пыльных следов от ударов нагайками.

Лукашевский даже хихикнул от неожиданности такой удачи. И, понимая, что случилось невероятное, вспомнил о Режиссере, об обещанной им защите. Другого объяснения случившемуся придумать было просто невозможно. Кроме одного, разумеется, что налет конников ему только почудился...

Выбравшись из последней балки, Петр Петрович увидел едущую ему навстречу черную "Волгу". Приблизившись, "Волга" замигала фарами и остановилась. Лукашевский тоже остановился, но из машины не вышел. "Волга" прошла еще немного вперед, стала дверь в дверь с машиной Лукашевского, и Петр Петрович увидел в ней сидящего за рулем Режиссера. Режиссер опустил стекло и поприветствовал Лукашевского взмахом руки. Лукашевский тоже опустил стекло. Теперь они могли разговаривать.

"Далеко ли направляетесь? - спросил Режиссер. - Впрочем, знаю: на базу. Под защиту оружия и моря. Это разумно. А посмотреть начало съемок не хотите?"

"У меня к тому времени уже не будет машины, я отдаю ее корабельному мастеру, - ответил Лукашевский. - Да и банды рыскают по степи. Только что на меня был совершен налет".

"Но ведь все, кажется, обошлось? - улыбнулся Режиссер. - Давайте выйдем и посидим на камнях, - предложил он. - Такой чудный день, поют жаворонки, степь благоухает. Когда-то еще доведется насладиться таким покоем..."

Они устроились на обочине, где лежали серые обветренные веками камни, спугнули семейку ящериц, выползших было погреться под утренним солнышком. Жаворонки уже развесили в небесах свои стеклянные колокольчики. Запах полыни, запах росы и камней тек невидимыми струями в легком дыхании весенней степи.

Прищуря глаза, Режиссер глядел вдаль, кивал головой, умиляясь покою и свету, вдыхал аромат степи и блаженно постанывал, улыбаясь.

"Все это останется, - сказал он, - и будет вечным. Ч Дорога тоже зарастет полынью и тюльпанами. Селенья рухнут и покроются пылью и травами. И белая башня вашего маяка тоже когда-нибудь упадет и рассыплется, а море станут бороздить только дельфины. Всюду будет как здесь: ни скрежета, ни грохота, ни дыма, ни ядов, ни чудовищных ран на теле земли. Потом мы поселим здесь Новый Разум, для которого первейшим законом будет закон гармонии и стабильности то, что рождает Разум, и то, что существует благодаря ему. Мир познает себя через Разум, обретет Волю и Цель, а Разум - вечность, мощь и величие. Миг случайной гармонии сотворил Жизнь и Разум. Вселенная впервые увидела и осознала себя. И с той поры она не может и не хочет расстаться с Жизнью и Разумом. Разум указал ей способ сохранения мировых констант. Она такая, потому что существует Разум. И Разум существует благодаря утвердившимся в нем константам. Цель Разума - стабильность и гармония Вселенной и собственное в ней существование. Разум выше Вселенной. Возникнув случайно, он стал ее вечным бегом и сам пребывает в ней вечно... Вы что-нибудь поняли из моих слов?" весело засмеялся Режиссер.

"Разумеется", - ответил Петр Петрович.

"Я рад. Стало быть, вы поняли, что цель разумной деятельности - гармония, ее познание, ее существование и укрепление. Эта цель обращена таким образом не только ко Вселенной, но и к человеку: в вечной гармонии он сам обретает вечность - как познающий и деятельный разум. Он рождается и укрепляется на Земле для Вселенной и для собственного бессмертия. Рождается в каждом человеке - и в том вселенская ценность каждого человека. И вот - это... - лицо Режиссера стало мрачным. - И вот этот ужас: слом духовного мира людей, попрание идеалов и самого важного среди них: homo sapiens - абсолютная ценность для себя и для мира. Ни в религиях, ни в государстве не утверждается этот идеал. Ни в вере, ни в праве, которые могли бы обеспечить каждому свободное развитие и совершенствование интеллекта, этой единственной силы, созидающей Гармонию и Вечность всего сущего".

"Созидающей? Каким образом?" - спросил Петр Петрович.

"Осознанием, установлением и соблюдением законов гармонии. Здесь и там. Во всем, что мыслимо и зримо. Это цель, освященная в себе самой абсолютным смыслом. Но голос крови заглушил в людях голос разума, потребление вытеснило познание. Произошел коллапс вашей ноосферы и ваших душ. Разрушилось то, что создавалось тысячелетиями. Homo sapiens - выродился и восстановлению не подлежит... вы видели сегодня лица нападавших на вас. Разве это были лица людей?"

"Но есть много благородных и высоких душ, - возразил Петр Петрович. Пусть не здесь..."

"Мы знаем, - сказал Режиссер. - Мы их спасем, рассеяв по другим мирам".

"Стало быть, второе пришествие?"

"А, вы о той прекрасной сказке? - улыбнулся Режиссер. - В этом смысле конечно. Но она была лишь предупреждением, а не предначертанием судьбы. Увы, предупреждение не подействовало... Так вы не хотите побывать на съемках? снова просил Режиссер. - Это будет впечатляющее зрелище... Я пришлю за вами машину. В воскресенье, часов в семь. Да, в семь часов утра у КПП базы машина будет ждать вас. И ничего не бойтесь, - Режиссер встал и протянул Петру Петровичу руку. - Итак, до встречи?"

"Да, до встречи", - ответил Петр Петрович.

Первой тронулась "Волга" Режиссера. Но, проехав метров десять, она остановилась. Режиссер высунулся из кабины и крикнул:

"Об Александрине! Этот кретин вам все наврал! Вы еще увидите ее! До встречи! И счастливого пути! Нет, нет, не возвращайтесь на маяк! Вы увидите Александрину потом!" - Режиссер помахал Петру Петровичу рукой, и его "Волга" покатила дальше, исчезнув за шлейфом пыли.

О странном подумал Петр Петрович, оставшись один: о том, смог бы он или не смог бы выстрелить в Режиссера? Эта мысль возникла только теперь. Но ведь ничто не мешало ей появиться несколькими минутами раньше, когда он сидел с Режиссером на камнях. И что бы он сделал тогда?

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лукашевский вышел из - КПП базы и сразу же увидел черную "Волгу" служебную машину Яковлева, доставшуюся теперь Режиссеру. Лукашевский взглянул на часы. Было семь утра. Водителя в машине не оказалось. Пришлось вернуться, на КПП, чтобы узнать, куда он запропастился. Дежурный ответил, что никакого водителя не видел, так-как никто из машины не выходил. Лукашевский, пожал плечами и вернулся к "Волге". Заглянул в кабину. Ключи торчали в замке. Дверца оказалась незапертой Лукашевский сел в машину. Ждал минут семь, посигналил. Из КПП вышел дежурный и погрозил ему кулаком.

Если водитель не прошел на, территорию базы через КПП - дежурному можно было верить, - то ни в каком другом месте он скрыться не мог: по эту сторону высокой решетчатой ограды, которой была обнесена территория базы, простиралась ровная, как стол, степь.

Лукашевский повернул в замке ключ зажигания. Двигатель сразу же завелся. Взглянул на стрелку показателя бензина - бак был полон. Выжал муфту сцепления, включил первую скорость. Развернулся, проехав у самого КПП, и стал медленно удаляться, поглядывая по сторонам. Водитель так и не появился.

"Ну и шут с ним, - сказал Лукашевский. - Сами с усами", - и стал набирать скорость.

Через час он был в райцентре. Поселок оказался совершенно безлюдным. Лукашевский, чтобы окончательно убедиться в этом, проехал по нескольким улицам, не встретил ни души. Лишь на выезде из поселка увидел впереди себя удаляющийся конный отряд. Догонять его не стал, помня о недавней неприятной встрече у курганов. Постоял несколько минут, дав отряду скрыться из виду, и лишь после этого двинулся по знакомой дороге в сторону маяка, к курганам, удерживая стрелку спидометра на "40".

Перед спуском в балку у плато курганов его остановили вооруженные люди, которых в другое время и принял бы просто за группу охранников. Они были с ружьями, с рюкзаками, с собаками. Потребовали предъявить документы. Лукашевский показал им старое удостоверение капитана дальнего плавания



единственный из имевшихся у него документов, с которым можно было без риска расстаться.

"Давай еще! - приказал проверяющий, сунув капитанское удостоверение в карман. - Паспорт давай!"

"Паспорта нет, - соврал Лукашевский. - Разве не видите, на чьей я машине? - пришла ему в голову счастливая мысль. - Я на машине Режиссера и еду на съемки по его личному приглашению".

"Действительно, - согласился проверяющий, лицо которого показалось Лукашевскому знакомым. Теперь же он узнал его - это был Кубасов, заведующий райсобесом. - Это же машина председателя исполкома! - воскликнул Кубасов изумленно. - Пропустить немедленно!"

Стоявшие перед машиной люди расступились. Кубасов вернул Лукашевскому капитанское удостоверение и, нагнувшись к окну, тихо сказал: "Поезжайте, Петр Петрович. Я вас сразу узнал, но приказ Режиссера - сами понимаете, - развел он руками. - Приказ!"

"Понимаю, - сказал Лукашевский и спросил: - А вы - кто? Скифы, гунны, печенеги?"

"Мы - оловянноглазые, - ответил не без гордости Кубасов. - Теперь деление другое, теперь - по цвету глаз: оловянноглазые, желтоглазые, зеленоглазые, сероглазые, голубоглазые, кареглазые, черноглазые, одноглазые, косоглазые..."

"И что - все друг другу враги?" - спросил Лукашевский.

"Все! - ответил Кубасов. - Но оловянноглазые - личная охрана Режиссера. Особый отряд!"

Лукашевский взглянул на Кубасова и убедился, что у того действительно глаза цвета олова - без мысли, без чувства, абсолютно пустые глаза.

"А у вас - серые, - сказал бывший заведующий собесом. - Ваш отряд стоит у дальних курганов. Это бывшие печенеги, самые жестокие и драчливые".

"Да?! - удивился Лукашевский. - Самые жестокие?"

"Самые-самые, - заверил его Кубасов. - Звери, а не люди".

Лукашевскому сказанное даже понравилось: все же приятно сознавать свою принадлежность к самым-самым.

"А почему переименовались? - спросил Лукашевский. - Чем плохо было называться сарматами, готами, киммерийцами, печенегами?"

"Многие не могли решить, кто они, - объяснил словоохотливый Кубасов, - то ли печенеги, то ли скифы... Словом, метались из одного отряда в другой. Теперь же все ясно по глазам: если, скажем, у тебя карие глаза - валяй к кареглазым и никаких гвоздей! Верно?"

Лукашевский согласился и поехал дальше. Кубасов отдал ему честь. Все остальные также взяли под козырек. Режиссер расположился на самом высоком кургане - на третьем к югу от дороги. На кургане стояла военная палатка и столб с мощным радиоусилителем наверху, из которого на всю окрестность гремела музыка - танец ламбада.

Машину пришлось оставить на дороге и добираться до кургана Режиссера, протискиваясь сквозь толпы людей - конных, пеших, идущих, стоящих, сидящих. Музыка гроыхала в небе, а здесь, на земле, стоял невообразимый гомон - крики, брань, воинские команды, причитания и перебранки, смех, визг, плач-как при Вавилонском столпотворении. В нос шибало запахом пыли, пота, конского навоза, нафталина, хлорки. Мужчины копали рвы для отхожих мест, женщины толкались и шумели у костров. На разостланных коврах и одеялах спали и кувыркались дети. Подростки курили, плевались и матерились, как лагерная шпана. Какой-то пьяный старик подбрасывал вверх свою шапку и орал осипшим голосом: "Смерть синеглазым! Хана белопузым готам!"

Почти у всех - кроме женщин и малых детей - было какое-то оружие: кинжал, топор, меч, лук, охотничье ружье, дубина, пика, ошарашник, стальной прут. Видел Лукашевский и современное боевое оружие: пистолеты, винтовки, автоматы, гранаты. Один парнишка лет шестнадцати таскал на плече противотанковое ружье времен прошлой войны. Обходя группу затеявших шумную потасовку молодых людей, Лукашевский наткнулся на миномет, вокруг которого лежали ящики с боевыми минами.

Одежда на мужчинах была самая разная. Но чаще всего встречались одетые в овчинные, горбатовившиеся на спине безрукавки; кавалерийские, обшитые кожей и опоясанные широкими ремнями, брюки; лохматые шапки, сапоги со шпорами.

А вот лица: лишь на немногих удавалось обнаружить следы благородных мыслей и чувств. Всеобщее возбуждение стерло с них все, кроме одного чувства, читаемого в глазах, были они голубые, карие или черные, - чувства нескрываемой злобы и злобной решимости рубить, колоть, бить, стрелять. Лукашевского то и дело толкали, ставили ему подножки и как бы в шутку целились в него, замахивались дубинами и мечами. Он выделялся среди них, как выделяется в серой стае белая ворона, потому что был одет в свой капитанский костюм. Какая-то женщина облила его из миски водой как бы случайно, разумеется: ополоснула миску и плеснула в его сторону, не глядя. Но Лукашевский видел, как она поглядывала на него через плечо и поджидала, когда он подойдет поближе.

"Не стыдно?" - сказал он ей. И тут же в ее защиту выступили двое суровых мужчин, кареглазых, в лохматых собачьих шапках. Схватившись за копья, они двинулись на Лукашевского. И только загородившая Лукашевского телега спасла его от беды - он успел нырнуть в толпу и скрыться от грозных преследователей.

Телеги, велосипеды, мотоциклы, машины - все это гроыхало, гудело и рычало, сливаясь с музыкой, с ламбадой, у которой не было конца.

Человек, остановивший Петра Петровича у штабного кургана, был хорошо знаком ему.

"Остановись!" - потребовал неожиданно преградивший Петру Петровичу дорогу человек, схватившись за меч. Лукашевский отпрянул в сторону. Человек радостно заржал. И только тогда Петр Петрович узнал его: перед ним стоял Полудин.

"А я вас давно приметил, - сказал Полудин, опуская меч. - И сказал себе: попугаю немного Петра Петровича".

"Вы все здесь горазды пугать", - ответил Петр Петрович, не зная, радоваться ему встрече с Полудиным или нет. Одно было несомненно важно: теперь он воочию убедился, что Полудин жив, и мог сообщить об этом Александрине.

"Да, - согласился Полудин. - А скоро начнем не только пугать, но и... - он взмахнул мечом, словно снес кому-то голову, и победно взглянул на Петра Петровича. - А вы без оружия? - спросил он. - Или следом идет оруженосец?"

"Без оружия, - ответил Петр Петрович, хотя правый карман его брюк топорщился от тяжелого пистолета Макарова, и тоже спросил: - Скоро ли домой, к жене и сыну?"

"Там видно будет, - уклончиво ответил Полудин. - Отомстить надо, отомстить! - сжал он зубы. - Потом думать о бабах".

"Так вы сероглазый, - сказал Петр Петрович, глянув Полудину в глаза. Почему же здесь, а не со своим отрядом, который, как мне известно, расположился у дальнего кургана?"

"Я связной, - объяснил Полудин. - Но откуда вы знаете про наш отряд? удивился он. Мы стоим там в засаде..."

"Так ведь и я сероглазый, - сказал Лукашевский. - Сероглазые сметут всех!" - воскликнул он, сам не зная почему.

"О! - закричал восторженно Полудин. - Какой лозунг! Такого у нас еще нет. Сероглазые сметут всех! За такой лозунг вас сразу же произвели бы в командиры!"

"Дарю вам этот лозунг, - сказал Петр Петрович. - Считайте, что это мой подарок".

Преисполненный благодарности, Полудин хотел было обнять Лукашевского, но Петр Петрович от объятий увернулся и сказал:

"Пришел ваш конь, мы нашли в сумке записку, боялись, что вы погибли. Павлуша очень скучает. Проведали бы семью, успокоили Александрина".

"Не до семьи, - отмахнулся Полудин, будто разговор зашел о чем-то второстепенном. - После победы, которая будет наша... Сероглазые сметут всех! - засмеялся он. - Вся эта земля, - повел он рукой, - принадлежит нам, сероглазым! В курганах покоятся кости сероглазых! У каменных воинов, стоящих на курганах, серые каменные глаза! Сама земля имеет серый цвет!"

"А небо голубое", - вставил Лукашевский.

"Правильно! Пусть голубоглазые отправляются на небо! - захохотал он, хватаясь за живот. - А синеглазые пусть прыгают в море... Сероглазые всех сметут! Сам Режиссер - сероглазый!"

"Неправда, - возразил Лукашевский. - Режиссер - не сероглазый: у него карие глаза. Я видел это много раз".

"Не может быть! - надулся Полудин. - Наш командир сказал, что Режиссер сероглазый! Вы уверены, что он кареглазый? Уверены? - наступая на Петра Петровича, зарычал он. - Не врешь, Петр-р-р Петр-р-ро-вич?!"

"Успокойся, - сказал Лукашевский. - Ты сам можешь убедиться в правдивости моих слов. Достаточно подняться на курган. Я как раз иду к Режиссеру".

"Вы?! К Режиссеру?!"

"А что?"

"К нему никто не смеет приближаться, кроме командиров".

"Почему?"

"Приказ!"

"На меня этот приказ не распространяется, - сказал Петр Петрович. - Я его личный гость. И вы, Полудин, пойдете со мной".

Они поднялись на курган, к палатке Режиссера.

"Зайдем", - предложил Полудину Лукашевский.

"Я подожду здесь, - выставил вперед ладони Полудин. - Постою и полюбуюсь, как говорится, панорамой".

Открывающейся с кургана панорамой действительно стоило любоваться: окрестная степь пестрела людьми, словно по ней раскатали многоцветный ковер. Поднимались в небо дымы от костров, стлались облака пыли, поднятые копытами лошадей и колесами автомобилей и телег. Ничего подобного Лукашевский в своей жизни не видел, разве что в кино. Будто от зеркал отражались от стекол машин солнечные лучи, блестели их лакированные крыши, сверкали бляшки на конской сбруе, отточенные мечи, топоры, наконечники пик. Так, наверное, выглядели на привалах армии Аттилы, Мамаю, Навуходносора, Александра Македонского. Без автомобилей, конечно, и мотоциклов. И, может быть, без женщин и без детей. О последнем Петр Петрович просто не знал.

День стоял хороший - теплый и солнечный. Плыли по небу редкие белые облака, чистые, нежные, легкие. Море, залегшее вдали широкой синей полосой, дышало в сторону степи волнами бриза, и степь в этих прозрачных волнах чуть вздрагивала. Башня маяка, словно росток полевого хвоща, покачивалась в мареве на горбатом мысу.

Режиссер был в палатке один. Он сидел за столиком, на котором был укреплен микрофон и стояла литровая стеклянная банка с красными и желтыми степными тюльпанами, освещенными солнечным светом из полиэтиленового палаточного оконца.

Режиссер встретил Лукашевского молча, не вставая, протянул ему руку. Петр Петрович огляделся, увидел пустой тарный ящик и присел на него. Режиссер потер ладонью лоб, поглядел на Петра Петровича из-под бровей и сказал на вздохе:

"Вот и началось. А вы не верили".

"Но почему же так печально? - спросил Лукашевский. - Не чувствую в вашем голосе торжества".

Режиссер протянул руку к микрофону, нажал на его подставке кнопку, и музыка, которую изрыгал громкоговоритель на столбе, смолкла.

"Поговорим в тишине, - сказал он. - Но только несколько минут. Иначе народ станет волноваться. Музыка говорит ему о том, что я здесь и что съемки будут... Итак, почему я печален. Да ведь все серьезно, Петр Петрович. Все так серьезно, что вы и представить себе не можете. Вам все еще думается, что разыгрывается спектакль. На самом же деле решается судьба людей на Земле. Как эти дикие отряды кинутся друг на друга, все и начнется. Уход, Петр Петрович. Исчезновение. Разве не печально?"

"Вы этого хотели", - сказал Петр Петрович.

"Я? Нет. Впрочем, об этом мы уже говорили. Но есть один шанс, Петр Петрович. Последний. И чтоб воспользоваться им, я пригласил вас. Впрочем, я еще кое на кого надеялся - на вождей народа, на его учителей. Я ждал, что они придут сюда и скажут народу... Увы, здесь их нет, они не пришли. И я, как видите, сижу один. Жду их. Но дождался только вас, человека, который не вождь, не учитель и который завтра... Это верно? Завтра?"

Петр Петрович кивнул головой.

"Который завтра, - продолжал Режиссер, - покинет этот берег ради океана и неведомой судьбы. И людей покинет, в делах и сердцах которых он не нашел ничего, что помогло бы ему открыть смысл жизни. Зачем же вы пришли сюда, Петр Петрович? Только ли из любопытства? Чтобы увидеть конец света?"

"Вы сказали о каком-то шансе, - напомнил Режиссеру Лукашевский. - Если можно, растолкуйте".

"Да. О шансе. О ничтожно малом шансе предотвратить исчезновение рода человеческого. Для этого надо сказать людям о чем-то таком, чтоб они бросили оружие, погасили в своих душах ненависть друг к другу и обратили свой духовный взор к гармонии, к прекрасному, к истине, к любви. Понимаете, Петр Петрович? он долго и пристально смотрел на Петра Петровича, обдумывая что-то, и наконец спросил: - У вас найдутся для людей такие слова? Откровенно говоря, ваш честный ответ должен заключаться в следующем: "У меня нет таких слов"... Сказано и повторялось: не убий; возлюби ближнего своего, как самого себя; не желай ни жены, ни осла, ничего из того, что в доме соседа; не кради; не прелюбодействуй; не клянись; не лжесвидетельствуй... Что сверх этих слов вы можете сказать людям? Вы можете только повторить старые истины, бросить зерна на камни и подняться с крестом на Голгофу... Правильно ли я говорю?"

"Да, правильно, - согласился Лукашевский. - Но тысячу раз сказать и повторить в тысячу первый - не напрасное занятие. Истина укрепляется повторением. Не так ли?"

"Может быть, - ответил Режиссер. - И вы хотите повторить? - усмехнулся он. - Рискнете? Сейчас я включу микрофон, и вас услышат эти тысячи несчастных, но прежде чем я это сделаю, давайте заключим пари: когда вас придут убивать, вы

укажете пальцем на меня и скажете: "Это он говорил"; в том же случае, если ваша речь образумит людей, и они придут сюда, чтобы провозгласить вас своим вождем, учителем, спасителем, Богом, вы также укажете на меня и скажете: "Это он говорил!"

"Зачем же лгать?" - спросил Лукашевский.

"В первом случае - для того, чтобы спастись; во втором - чтобы не стать Богом, ибо человек стать Богом не может, не имеет права: когда он умрет, умрет и его учение. Ведь вы не можете умереть и воскреснуть, Петр Петрович?", засмеялся Режиссер.

"Видимо, нет", - ответил Лукашевский.

"И не хотите быть убитым, растерзанным толпой?"

"Нет. Но что будет с вами?" - спросил Лукашевский.

"Со мною ничего не случится. Я лишь продолжу начатое... Да и Богом я могу стать... Солгать, чтобы спастись самому или чтобы спасти человечество - разве это трудно, недопустимо? Человеку невозможно стать Богом и запрещено жертвовать собой. Самопожертвование - это самоубийство. Но жизнь принадлежит не человеку, а Вселенной. Нельзя распоряжаться тем, что тебе не принадлежит".

"Стало быть, истина в том, что человек не принадлежит самому себе?"

"Да, человек - порождение Вселенной и принадлежит ей как способ стабильного существования. Но лишь человек разумный... Впрочем, об этом мы уже говорили. Итак, я включаю микрофон. Рискнете? Пари принимаете?"

"Рискну. Принимаю", - ответил Петр Петрович.

Режиссер положил палец на переключатель.

"Да?", - спросил он еще раз.

"Да!", - сказал Лукашевский.

И тут они услышали громкую брань. Петр Петрович сразу же узнал бранящихся по голосам: у входа в палатку кричали друг на друга Полудин и Рудольф: "Отойди!" "Пошел ты!", "Не суйся!", "Сейчас схлопочешь!", "Убью!", "Попробуй!", "Ах, так!", "Получай!". Короткая перебранка закончилась короткой автоматной очередью. Лукашевский первым выскочил из палатки и первым увидел Полудина, который лежал перед входом, разметав руки, уткнувшись лицом в лужицу крови.

"Ты убил его? - спросил Рудольфа вышедший из палатки Режиссер. - Зачем?"

"Он не пускал меня в палатку, - ответил Рудольф, держа автомат у живота. А мне надо было войти". "Войти? Зачем?"

"Чтобы убить тебя!" - ответил Рудольф и нажал на спусковой крючок. Длинная автоматная очередь, усиленная радиодинамиком, загрохотала над степью. Лукашевский видел, как пули прошивают Режиссера насквозь, вырывая клочья одежды на спине.

Режиссер рухнул на палатку без крика и стога. По зеленому брезенту, стекая в складки, полилась кровь.

"Ты что наделал?! - закричал на Рудольфа Петр Петрович. - Дурак! Идиот! Убийца!"

Рудольф перевел дуло автомата на Лукашевского и, ухмыляясь сказал:

"Придется и вас. Чтоб не было свидетеля. Чтоб не сказали Александрине".

Понимая, что Рудольф сейчас убьет его, Лукашевский не предпринял никакой попытки вернуться от пуль: знал, что не сможет, не успеет и не станет просить пощады. Подумал о своих девочках, об "Анне-Марии", которая никогда не увидит океана и махнул рукой.

"Или не скажете Александрине про Полудина?" - спросил Рудольф.

"Скажу", - ответил Петр Петрович.

"Тогда что ж..."

В последний миг жизни Петр Петрович поднял глаза к небу и сказал с упрёком:

"Ни истины, ни милосердия..."

Рудольф почти кубарем скатился с кургана, вскочил на оставленного у подножья коня, пришпорил его и помчался в сторону маяка, не выбирая дороги, разгоняя криком и плетью оказавшихся на пути людей.

Никто сразу не понял, что произошло на кургане. Прогремевшие из динамика выстрелы были восприняты без тревоги, потому что степь и без того уже оглашалась выстрелами: стреляли в воздух нетерпеливые, возбуждая в себе и других воинственный дух. Привлекли не выстрелы, а наступившее после них долгое молчание на кургане. Любопытные поднялись к палатке и увидели то, что потом взбудоражило всю степь: трех убитых, из которых узнали только Режиссера. Быстро нашлись умельцы, включили радиодинамик и объявили о случившемся.

"Убит Режиссер! Убит Режиссер! - понеслись над притихшей степью страшные" слова. - Измена! Измена!"

Весть об убийстве и измене была тотчас же принята каждым отрядом, каждым племенем как убийство и измена, совершенные другим отрядом, другим племенем как сигнал к нападению, к бою. Степь в мгновение ока взорвалась воплями, воинственными криками, конским ржанием и стрельбой. Пыль стала обволакивать окрестности скифских курганов, словно земля устыдилась небес. И как бы на помощь пыльному облаку - поплыл с моря туман, быстро докатился до курганов, смешался с пылью, накрыл плато серой холодной тенью и, накапливаясь, стал вспучиваться, подниматься кверху белой лохматой шапкой, под которой все глуше и глуше становились человеческие крики, конское ржание, стрельба и лязг металла.

Последним в бой под серое покрывало тумана пыли кинулся многочисленный отряд сероглазых, терпеливо дожидавшийся своего часа в засаде у самого дальнего кургана. Таков был приказ предводителя сероглазых: вступить в битву последними, когда другие отряды перебьют друг друга. Этот отряд, его лихую скачку и оставленный им шлейф густой пыли увидел со своего вертолета капитан Квасов. Отряд нырнул под гигантское облако, улегшееся на плато курганов, и пропал. Капитан приказал вертолетчикам облететь облако вокруг. Он надеялся найти в нем просвет, разрыв и таким образом увидеть, что творится под ним. Вертолет огибал облако, словно гору, сделал полный круг, но просвета в облаке не нашел.

"Странно, что из-под него никто не выходит", - сказал капитан Квасов, приказав продолжить облет жуткого облака. - Ни человека, ни лошади, ни машины. Или они все там задохнулись? Не дым ли это?"

Вертолетчики подошли к самой кромке облака, открыли боковые стекла. Дымом не пахло. Пахло морским туманом и мокрой пылью.

Весть о большом скоплении вооруженных людей на плато курганов капитан получил с маяка, от Яковлева.

"Смотри, Квасов, как бы эти банды не развернулись фронтом против тебя и флотской базы, - предупредил его Яковлев. - Тебе следовало бы понаблюдать за ними. Да и меня вывезти с маяка. На маяк они точно нападут: мы ближе всего к ним".

Облетев еще несколько раз облако, которое не только не рассеивалось и не уменьшалось, а все росло вширь и вверх, Квасов приказал посадить вертолет на плато и заглушить двигатель, чтобы послушать, что там происходит, под облаком.

Отсюда, с земли, оно оказалось таким высоким, что закрыло своей всклокоченной вершиной солнце.

"Откуда взялось? - злился капитан Квасов. - Кругом ясно, а оно здесь торчит. И не пахнет! Если б дым - понятно: взорвали что-нибудь. Но это не дым, - втягивал он носом воздух. - Нет, не дым".

Медленно расплзаясь, облако приближалось к ним. Наблюдать это было страшно: темная громада в полной тишине подступала стеной, будто оторвавшийся клочок ночи.

"Взлетаем! - приказал Квасов, когда от вертолета до отвратительного облака оставалось метров пятьдесят. - Быстрее!"

Они опустились на мыс возле маяка. Едва вертолет коснулся земли, из ворот выбежали двое. Это были Яковлев и Рудольф. Квасов спрыгнул им навстречу, отбежал от винтов.

"Что там? - спросил, здороваясь с Квасовым за руку, Яковлев. - Мы видели с башни, как вы кружились над плато. Туман выполз из южной долины. Это было непонятно", - пожал плечами Яковлев.

"Там все непонятно, - сказал Квасов. - Сквозь эту тучу ничего не видно. А вы что-нибудь видели?"

"Только начало. Как завязался бой".

"Бой?! С кем?"

"Они кинулись друг на друга".

"Почему?"

Яковлев поглядел на Рудольфа и снова пожал плечами.

"Полетите с нами?" - спросил Квасов.

"Обязательно, - сказал Яковлев. - Здесь оставаться опасно".

"Вас только двое?"

"Была женщина с ребенком, с мальчишкой, но мы не можем ее найти. Она вдруг исчезла. Вместе с ребенком. То ли еще ночью, то ли уже утром".

"Тогда пусть один из вас останется здесь, - сказал Квасов. - Солдат, например, - указал он на Рудольфа. - Мы же ждать не можем". "Да, я останусь, согласился Рудольф. - Только дайте мне сотни две патронов, мои на исходе".

Вертолет с Квасовым и Яковлевым улетел. Рудольф запер ворота и поднялся с биноклем на башню. Набил запасные рожки патронами, то и дело поглядывая на облако. В какой-то момент оно перестало увеличиваться, начало оседать и сползать за плато, растекаясь по балкам и низинам. Наконец солнце приподняло его над землей, опрокинуло и разорвало на мелкие облака, потянувшиеся стаей к восточному горизонту. Плато открылось.

У Рудольфа от напряжения заболели и заслезились глаза. Он опустил бинокль, закрыл лицо ладонью и просидел так несколько минут, ожидая облегчения. Затем снова прильнул к биноклю.

На плато было безлюдно. Бродили лошади, стояли телеги, машины, дымились остатки костров, пестрели на траве брошенные ковры, одеяла, скатерти, поблескивала посуда. Но не было людей. Ни живых, движущихся, ни мертвых. Не тронулась с места ни одна машина, не вскочил на коня ни один всадник. Дорога, ведущая на плато курганов к западу и к востоку, была пуста.

"Александрина! - закричал пораженный увиденным Рудольф. - Александрина, сюда, скорей!"

Но Александрина не откликнулась: Рудольф на какое-то мгновение просто забыл о том, что ее на маяке нет. А вспомнив, уронил бинокль и в страхе прижался спиной к башенной стене: ему вдруг показалось, что на всей Земле он остался отныне один.

Потом, успокоившись, спустился с башни, снова обошел все маячные строения, заглядывая в каждый темный угол. Нашел тайный погребок под смотровой ямой в гараже Лукашевского, побывал с фонарем в угольном складе башни и, наконец, оседлав лошадь, съездил к лодочному гаражу на северный спуск. Не обнаружив "Эллиниды", решил, что Александрина с Павлушей уплыли на шлюпке. Неясно было только одно: когда и как они покинули маяк - ведь Рудольф всю ночь был на башне и, значит, они не смогли бы уйти незамеченными. До флотской базы путь был не близок, на веслах не дойти и за сутки. Гораздо ближе находилась Греческая гавань, на восточном берегу которой стояла рыбацкая деревенька. Обдумав все это, Рудольф решил, что надо искать Александрину там, в рыбацкой деревеньке. Но прежде чем двинуться туда, направил коня к плато.

Трупов на кургане не оказалось. Не было и следов крови. Лишь у входа в палатку валялся изрешеченный пулями капитанский китель Лукашевского. Рудольф свесился с лошади, чтобы поднять китель, и вдруг с ужасом увидел, что протянутая к кителю рука растаяла и исчезла. Нет, он чувствовал ее, он знал, что рука есть, но он не видел ее. Рудольф выпрямился и ударил стремями коня. Конь понесся с кургана, едва не сбросив Рудольфа. Рудольф рванул на себя удила, конь с храпом поднялся на дыбы, и Рудольф упал на камни. То, что произошло с ним в следующее мгновение, заставило его закричать страшным криком: едва он коснулся земли, исчезли ноги, сначала до колен, потом до бедер. Он кричал до тех пор, пока не исчез весь. Вместе с его исчезновением прекратился и крик. Конь Рудольфа отошел к другим лошадям и принялся спокойно щипать молодую весеннюю траву. На месте, где еще несколько секунд назад лежал Рудольф, остались его ботинки, солдатская форма и автомат...

Лукашевский открыл глаза и увидел, что сидит в машине держась обеими руками за руль. Это была яковлевская, или режиссерская "Волга", та самая, которую он оставил на дороге перед тем, как подняться на курган к Режиссеру. Он очнулся от резкого торможения, ударившись грудью о руль, из чего следовало, что он сам вел машину, хотя теперь не мог вспомнить, так ли это было на самом деле. Затормозил он вовремя, потому что до будки базовского КПП оставалось не более десяти метров. Еще секунда - и он снес бы ее вместе с дежурным. Напуганный дежурный стоял в дверях и что-то кричал, размахивая руками. Лукашевский открыл дверцу и сказал:

"Извини, брат, задремал".

"В другой раз полосну из автомата, - пригрозил дежурный. - Не посмотрю, что "Волга".

"Пропустишь? - спросил Лукашевский. - Ты должен меня пропустить. Да у меня и пропуск есть", - сказав это, он с ужасом обнаружил, что на нем нет кителя, во внутреннем кармане которого лежали все его документы: паспорт с выездной визой, удостоверение яхтсмена-кругосветника, разные справки и пропуск на флотскую базу. Лукашевский оглянулся на заднее сиденье и чуть не закричал от радости: прозрачный пакет с документами лежал возле аптечки - черной пластмассовой коробки с красным крестом на крышке.

"Я вас помню, - сказал дежурный. - Вы смотритель соседнего маяка".

"Бывший, - уточнил Лукашевский, выходя из машины, и увидел, как у дежурного полезли на лоб глаза. - Ты что, брат? - остановился Лукашевский. Чем я тебя напугал?"

"А вы посмотрите, - протянул дежурный к его груди руку, - Сюда посмотрите", - рука у него задрожала, как у пьяницы.

Лукашевский наклонил голову. Вся рубашка под подбородком была у него в дырах с обожженными краями.



"Ах, это, - махнул рукой, лишь теперь вспомнив, что с ним произошло на кургане. - Удивляться надо не этим дырам, а тем, которые на спине, - он повернулся к дежурному спиной, ощупывая рубашку через плечо. - Есть?"

"Есть, - тихо ответил дежурный. - Но крови нет".

"Крови нет, - сказал Лукашевский. - В этом весь фокус"

"Я понял, - хихикнул дежурный. - Вы сняли рубашку и стреляли по ней. Чтоб наделать дыр. Чтоб было прохладно, - голос его окреп. - Это очень модно".

"Точно, - сказал Лукашевский. - Очень модно".

Сойдя с дороги по каменистой насыпи, Лукашевский оказался на тропинке, ведущей к бухточке, где стояла яхта. Тропка сбегала вниз между ромашками и одуванчиками, огибала камнями и колючие кусты шиповника. Лукашевский ускорил шаг, почти побежал, чувствуя себя молодым и здоровым, радуясь скорой встрече с "Анной-Марией".

Лукашевский остановился и оглянулся. Высоко на склоне белела будка КПШ. Над кустом шиповника, который он только что миновал, порхали белые и голубые бабочки. Солнце было почти в зените. В чистом небе пели жаворонки. Белая лента тропы вилась по зеленому склону. Безветрие пахло теплой травой.

"Что невысказано на земле, при жизни, то невысказано и потом. Или я жив", сказал себе Лукашевский, ощупывая грудь. Затем стащил с себя через голову рубашку, посмотрел на просвет, скомкал и швырнул на куст, распугав бабочек. Рубашка повисла на шипах, расправившись, словно мишень для стрельбы.

"Анна-Мария" стояла на месте. Так и должно быть. Но за минуту до того, как обогнуть склон, заслонявший бухту от глаз, Лукашевский вдруг испугался, подумав, что "Анны-Марии" нет. Бог знает, почему он так подумал. Может быть, потому, что торопился увидеть ее. Испуг был так велик, что у него обмякли ноги и оборвалось сердце. Да и как иначе: если он все еще жив, то пропажа яхты наверняка добилась бы его. Теперь это слилось в одно - жизнь и яхта.

Она стояла на тихой воде. Ступив на палубу, Лукашевский обнял мачту и прижался к ней лицом. От бессилия и нежности. И заплакал, как плачут от счастья, обретенного после жестоких страданий.

Ветра не было, и потому он вышел в залив на винтах, не поднимая паруса. Сначала шел медленно, пробираясь меж ржавых корпусов стоящих на ремонте кораблей и плавучих доков. Потом, на чистой воде, набрал скорость и через несколько минут вышел в море правее погранзаставы. Квасова. Включил радиостанцию, настроился на частоту Квасова и сразу же услышал его голос:

"Петр Петрович, ты куда? Зайди к нам. Здесь Яковлев. На маяке опасно".

Лукашевский ответил, что идет домой, на маяк, что Яковлев ему не нужен и что никакие опасности ему не страшны.

"Не сердись, капитан, - сказал он Квасову. - Но я тороплюсь. Жму руку и желаю тебе счастья".

"Ладно, - ответил Квасов. - Семь футов тебе под килем. Обнимаю".

"Подожди, - сказал Квасов после паузы. - Подожди, Петр Петрович. Товарищ Яковлев хочет сказать тебе несколько слов".

"Пусть говорит", - не сразу согласился Лукашевский.

"Ты прости, Петр, - быстро заговорил Яковлев. - Я не дождался тебя. На курганах творится ужасное. Я не советую тебе там появляться. На маяке остался только Рудольф. Александрина ночью тайно ушла. Неужели не простишься с нами?"

Услышав слово "прием", произнесенное Квасовым, Лукашевский помолчал, не зная, что ответить Яковлеву, - ведь Рудольфа на курган, несомненно, послал он, - пощелкал тумблером, снова услышал слово "прием" и сказал:

"Был шанс изменить ситуацию и спасти людей. Но ты грубо вмешался, прислав на курган Рудольфа, хотя должен был понять, и притом давно, что силой ничего нельзя решить, тем более насильем. Ты поступил ужасно. Прощай".

Лукашевский выключил радиостанцию и вышел на палубу. Яхта шла на малой скорости, удаляясь от берега. Застава Квасова и строительные краны флотской базы утонули в голубом мареве. Открылся новый горизонт, синий, почти черный: там, вдали, уже гулял ветер. Вскоре Лукашевский увидел его приближение темные пятна ряби, словно тени от облаков, двигались навстречу яхте. Петр Петрович поставил парус. Полотно захлопало на боковом ветру, как крыло большой птицы, затем наполнилось ветром, вздулось, как крутая грудь, и, чуть завалив яхту на правый борт, понесло ее, легкую и послушную, по еще спокойной и мягкой воде.

Понимая двусмысленность пришедших ему на ум слов, Лукашевский все же подумал, что вот и пришел конец его земным мытарствам: теперь - море, простор, свобода. И одиночество. Как избавление от суеты, как награда... Гибельность суетной жизни в том, что мысль не достигает желаемого предела, потому что стреножена и вынуждена шархаться от края пропасти, через которую не может перескочить. Но истина там, за пропастью, на другой стороне. Эта пропасть страх ожидания, липкая патока пустых наслаждений - словом, суета. Ничего не удастся додумать до конца, самое важное откладывается на потом, а будучи отложенным, уже не кажется важным, душа становится робкой, цепляется за сиюминутное и, как раненая птица, не может взлететь. А ранят ее собственные страхи, несовершенство, слепота. И вот вместо полета она влачится по пыльным петляющим заячьим тропам...

Яхта - это он сам, его воплощенная мечта и воля. И потому он чувствует себя с ней единым целым. Она - его продолжение в пространстве, его возросшая мощь, новая степень свободы, способность "идти по морю, аки посуху..."

Его стало сносить к берегу. Лукашевский переменял галс, взял мористее. Стая чаек, летевшая куда-то по своим делам, завидев яхту, вдруг круто изменила курс и пошла впереди, словно лоцман, дружески покрикивая и похохатывая.

Это свое желание он назвал черным, несчастным, но оно было непреодолимо желание предстать перед Рудольфом, убившим его на кургане. Лукашевский не знал, что Рудольфа на маяке нет. Да и как он мог знать об этом? Яковлев же сказал ему, что Рудольф там. Было ли это его желание встретиться с Рудольфом желанием мести? Конечно. Потому Лукашевский и назвал его черным. А несчастным потому, что оно могло принести ему, Лукашевскому, несчастье. Он с трудом представлял себе, как встретит его Рудольф; ужаснется ли при виде его, сойдет ли с ума, оцепенеет от изумления или просто удивится, пожмет недоуменно плечами, как удивляются чему-то не стать уж неожиданному и странному... Или закричит: "А, так ты еще жив?" - и схватится за автомат? Последнее казалось Лукашевскому наиболее вероятным: душа Рудольфа проста, как камень, и откликается ударом на удар. Но хотелось ему, чтобы Рудольф сошел с ума и доказал бы тем, что он не робот, а человек, что меж людьми бездушных нет. Впрочем, что-то тут не вязалось: убил, как робот, а сошел с ума, как человек стало быть, и убил, как человек, а робот не сойдет с ума. Да, это было несчастное желание и невозможная месть. Он оставит Рудольфу жизнь и жалкий ум, но отнимет у него Александрина. Он причалит к мысу ради нее и Павлуши и спасет их. Но Яковлев сказал, что Александрина и Павлуша ночью тайно покинули маяк. Лукашевский надеялся, что это не так.

Он увидел мыс раньше, чем ожидал: привык плестись на "Эллиниде", а "Анна-Мария" домчала его, как на крыльях. Вышел на траверз милях в трех и лег в фордевинд. Ветер был упругий и напористый. Яхта рванулась, как в гоночном

азарте. И если бы Лукашевский не убрал парус, казалось, протаранила бы мыс. Но Лукашевский не только убрал парус, а и повалил мачту, чтобы войти в грот. Причалить к северному спуску он не рискнул: пришлось бы оставить яхту без присмотра на все то время, пока он будет на маяке.

В грот вошел на винтах, включив носовую фару. И еще издали увидел Александрину и Павлушу, которые сидели в шлюпке, причаленной к тупику. Он, кажется, напугал их, потому что они вдруг заметались, пытаясь выбраться из шлюпки. Лукашевский остановил их криком, погасил ослеплявшую их фару и увидел слабый огонь керосиновой лампы, стоящей на корме "Эллиниды".

"Это я, Саша! - сказал он, заглушив двигатель. - Это я - Петр Петрович!"

Сашей он назвал Александрину, хотя прежде никогда не называл ее так.

"Дядя Петя! - радостно закричал Павлуша. - Родной наш дядя Петя!"

Лукашевский прикусил нижнюю губу, чтобы не прослезиться.

Александрина и Павлуша перешли на яхту, в светлую и теплую каюту, уставшие от холода и тревоги.

"Я знала, - плача, повторяла Александрина, - я знала, что вы вспомните о нас, я говорила это Павлуше, я знала..."

Лукашевский дал им успокоиться, напоил горячим чаем из термоса, укутал пледами.

"Что там?" - спросил он Александрину, подняв глаза кверху.

"Не знаю, - ответила Александрина. - Мы ушли ночью, спустились по тайной лестнице".

"Ты знала о ней?"

"Нет. Просто Павлуша однажды за вами шпионил и подглядел".

Лукашевский хотел сказать Павлуше, какой он молодец, но Павлуша, согревшись под пледом, уже спал. Лукашевский, чтоб не разбудить его, заговорил - шепотом: "Я поднимусь на мыс и погляжу, что там".

"Нет! - схватила его за руку Александрина. - Нет!"

"Почему?"

"Не знаю".

"И все же я поднимусь", - сказал Лукашевский твердо.

Он взял батарейный фонарь, прыгнул на "Эллиниду" и направился к башне. Через несколько минут он вышел из-под башни.

"Есть кто-нибудь живой? - крикнул он, остановившись посреди двора. Встречайте гостя с того света!" - Разумеется, он рассчитывал на то, что его услышит Рудольф, но никто не отозвался. Тишина была мертвой. Вслушавшись в нее, Лукашевский больше не стал звать Рудольфа. Не стал и искать его: такой была эта тишина - пустой, заброшенной, бездыханной.

Лукашевский вошел в аппаратную, постоял у пульта, уже успевшего покрыться пылью, написал пальцем на приборном стекле слово "Прощай!" Поднялся по скрипучей деревянной лестнице на веранду, прошел в квартиру. Он совсем недавно, а Яковлев и того позже, лишь сегодня, покинул ее, но в ней уже пахло нежилым духом: стены и вещи быстро забывают своих хозяев. Подошел к окну, глядевшему на восток, на плато курганов. Там, на плато, насколько могли видеть его глаза, было безлюдно. Лишь у самых курганов что-то поблескивало на солнце, словно битое стекло. Не было ни дыма, ни какого-либо движения. Лукашевский пожалел о бинокле, оставленном на яхте. Тут же вспомнил о полудинской "Хонде". Обернулся, чтобы идти, и увидел на противоположной стене свою картину - "Вид на пирамиду Хеопс из тени пирамиды Хеф". На ней все было как прежде: синяя тень, белая пирамида, всадник на буром верблюде, мгlistое прокаленное небо жаркой пустыни, ржавая дымка над невидимой

нильской долиной... Уничтоженная Режиссером, она вновь воскресла. Краски были свежи и блестящи, будто только что легли на холст.

Лукашевский не поразился, не удивился. Он привык к исчезновению и воскрешению своих картин. Лишь подумал, что нынешнее воскрешение означает что-нибудь важное. И, кажется, даже понял, что именно. Он подумал, что надо удержать эту мысль и вернуться к ней потом, уже на яхте. И что для этого стоит, пожалуй, взять на яхту картину, вообще унести ее из этого пустого и ставшего таким неудобным дома. Он снял ее со стены, вынес во двор и прислонил к двери у аппаратной. Затем выкатил из полудинского гаража "Хонду", заглянул в бак. Бензина в баке было мало, но не настолько, чтобы не хватило на поездку к курганам. "Хонда" завелась сразу, зарычала энергично и низко. Лукашевский вывел ее за ворота, еще раз глянул вверх, на башню, и, убедившись, что Рудольфа все-таки нет, сел на мотоцикл. Сильная машина, которой так любил похвастаться Полудин, чуть боком, словно норовистый конь, рванулась с места, и, быстро набирая скорость, понесла его к курганам.

На кургане, где стоял шатер Режиссера, Лукашевский, не слезая с мотоцикла, заглушил мотор, огляделся, прислушался. Ветер раскачивал бока палатки, хлопал дверной шторой. Ничего не напоминало о разыгравшейся здесь трагедии. Окрестности были безлюдны. Паслись кони. Валялись брошенные там и сям вещи, одежда. Никого не было у телег и машин.

Лукашевский вошел в палатку. На столике возле микрофона сиротливо стояла банка с тюльпанами. Лукашевский щелкнул тумблером, снаружи из динамика грянула музыка - все та же зажигательная ламбада. Было в этом что-то кощунственное. Лукашевский выключил музыку и вышел из палатки. Увидев невдалеке свой капитанский китель, нагнулся и поднял его. Китель, как и рубашка, которую он выбросил, был прошит пулями. На белой шелковой подкладке остались пятна запекшейся крови.

"Оставь! - услышал он громкий голос из динамика. - Оставь и вернись на яхту!" Голос был чужой, незнакомый и ровный, как у говорящих роботов.

"Где люди?" - спросил Лукашевский, отбросив китель.

"Людей нет", - ответил динамик, сорвался со столба и грохнувшись на камни, развалился на части.

Лукашевский почувствовал как у него деревенеют ноги и холодеет спина. Его охватил ужас. Это был ужас пустоты.

"Людей нет? - подумал он. - Люди ушли? Но кто же уходит, бросая автомобили и лошадей? Замысел Сумасшедшего Режиссера все-таки осуществился..."

Заперев изнутри ворота и калитку, Лукашевский поставил "Хонду" в гараж, взял картину и спустился в угольный склад под башню.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ступени были стерты и влажны. Он светил себе под ноги, чтобы не оступиться - лестница была крутой, - держал фонарь в правой руке, а левой прижимал к боку картину. Картина мешала ему, цеплялась рамой за стену, так как приходилось спускаться боком, из предосторожности. Возникла мысль оставить ее, но, поскольку торопиться было некуда - несколько минут задержки ничего не меняли в его планах, - он лишь остановился, взял картину поудобнее и двинулся дальше. И, кажется, именно в этот момент случилось то, чего он и предположить не мог и что минутой позже повергло его в недоумение: лестница стала сухой, ступени ровными, сложенными из старательно обтесанных и пригнанных плит, на

гранях которых не было ни одной щербинки или скола. Под ногами закрипел мелкий песок, стало тепло и даже душно. Лукашевский осветил, по сторонам и вверх - и к своему изумлению увидел, что находится не в туннеле, вырубленном в скале, а в узком и высоком коридоре, сложенном из крупных известняковых блоков, на которых отчетливо видны следы обработки. Ничего этого Лукашевский прежде не замечал. Да и чувство, охватившее его, было совершенно определенным: никогда раньше он здесь не бывал. Он направил луч фонаря вперед и вниз. Метрах в десяти туннель упирался в глухую стену, если только не сворачивал под прямым углом вправо или влево, чего Лукашевский разглядеть не мог. Дальше идти было некуда: путь преграждала стена, сложенная все из тех же каменных блоков. Ни справа, ни слева не удалось обнаружить даже намека на какой-нибудь другой туннель, хотя это и представлялось Лукашевскому странным: ведь как-то же он вошел сюда? Не сквозь камни же просочился? Нет, нет, не сквозь камни: спустился под башню в угольный склад, отодвинул щит и добрался по сырому и холодному коридору до каменной лестницы, круто ведущей вниз по грубо вырубленному в скале туннелю. И лишь потом увидел плотно пригнанные блоки, отшлифованные плиты-ступени. И случилось это в тот самый момент, когда он остановился, чтобы поудобнее взять картину.

Лукашевский поставил картину перед собой на ступеньку и осветил ее. И тогда ему пришла в голову мысль, что он находится в пирамиде. Бредовая, разумеется, мысль, хотя не настолько, чтобы сразу же отвергнуть ее. Стены, ступени, фонарь в руке, бьющий из него свет - все это было реально. О пирамиде он подумал, конечно, из-за картины, будь она неладна, но что же тогда означает все прочее? Вопрос этот поверг его на несколько секунд в оцепенение, сходное с тем, что порой случается после пробуждения от кошмарного сна. Лукашевский выключил и снова включил фонарь. Ничего не изменилось. Обернулся, осветил вниз. Стал спускаться, светя себе под ноги. Остановился где-то на середине спуска, выключил фонарь, затаил дыхание и прислушался. Не услышал ничего, кроме шума собственной крови в ушах.

Нижний тупик ничем не отличался от верхнего: те же плотно пригнанные друг к другу крупные блоки с отчетливыми следами обработки. Глухая вертикальная стена уходила под сводчатый потолок. Между последней ступенькой лестницы и стеной не было никакой площадки - ступенька наполовину уходила под стену, и это было бессмысленно и жутко.

Лукашевский уперся обеими руками в стену. Стена не поддавалась, зато страх, который он все это время сдерживал, вдруг выплеснулся из своего черного сосуда и разлился по всем жилам. Лукашевский уронил фонарь. Тот ударился о камень и погас. Лукашевский присел и пошарил перед собой, почти не чувствуя рук. Фонарь не нашел, прижал руки к лицу, ощутив влажный мертвящий холод. Вскрикнул и замер: не узнал свой голос, будто закричал кто-то другой и даже не человек. Но с этим криком что-то ушло из него, оставив в душе пустоту, обернувшуюся неожиданным покоем: он освободился от страха. Минуту-другую Лукашевский сидел неподвижно, впевив взгляд в темноту. Затем наклонился вперед, протянул руку и сразу же нашел фонарь. Фонарь не разбился, вспыхнув ярким лучом, едва Лукашевский нажал пальцем на кнопку. Четкий круг света лег на стену. Не вставая, Лукашевский обернулся и послал луч вверх. Высоко, как слабый синеватый просвет в камнях, он увидел свою картину. Но это он лишь так подумал, что увидел картину. Не для себя подумал, а для кого-то другого. И постарался задержать в себе эту мысль, пряча за нее то истинное, что он увидел на самом деле, прикрывая ею тайну, которая ему вдруг открылась - тайну спасения. Может быть, еще не всю, а лишь ее проблеск, лишь начало, которое тем более надо было сохранить в тайне, как хранят от зноя и ветра слабый росток будущего

могучего дерева, как оберегают от сглаза едва зародившуюся надежду от осмеяния, от хулы, от скепсиса, от неверия потерянных для спасения людей. Сделать это было неизмеримо трудно. Не хватало не только души, но и физических сил. Лукашевский поднимался по лестнице так медленно и так тяжело, будто тащил на себе целую гору.

Казалось, что ступени крошатся у него под ногами, а сердце вот-вот разорвется от страшного напряжения. У него уже не оставалось сил даже подумать, почему он решил, что пришла пора остановиться и погасить фонарь. Но, сделав это, понял, что победил, что донес свою тайну до победы, до высоты, до безопасной точки, где ей уже ничто не угрожало. Он увидел, что стоит перед выходом из туннеля, перед широким проломом в камнях, за которыми - свобода. Он увидел пирамиду Хеопса, повернутый острием к небу гигантский каменный конус, окутанный мглой взвихренного песка.

Пролом был высоко над землей. Лукашевский приблизился к краю и понял, что стоит на каменном уступе северной грани пирамиды, в той самой точке, откуда ему виделась его злосчастная картина - "Вид на пирамиду Хеопса из тени пирамиды Хефрена". Ветер швырял песок в лицо и с тонким свистом гнал его по расщелинам и площадкам слагающих пирамиду многотонных глыб. Где-то за спиной из-за грани пирамиды Хефрена пробивался сквозь мглу багровый свет закатного солнца и ложился на пирамиду Хеопса, на ее выступы, окантованные черными изломанными линиями теней, зловещим мерцанием. Даль была затянута непроглядной ржавой пеленой. И только в зените, как сквозь бельмо, просвечивала синева. С земли, от подножия пирамиды, заглушаемые ветром, доносились настойчивые понукания - черный всадник на черном верблюде безуспешно пытался сдвинуться с места. Но вот и его накрыла песчаная мгла, и голос всадника утонул в трубном шуме ветра. От пирамиды Хеопса осталась видимой лишь верхняя часть - багровый зазубренный конус над беснующейся коловоротью, будто застывший язык пламени над зловещим облаком пепла.

Гибельность открывшегося из пролома мира была так очевидна, что у Лукашевского не возникло и мысли о том, чтобы спуститься вниз, к подножию пирамид. Он ошибся в выборе свободы и спасения - он нашел путь к свободе небытия, к спасению через ничто. Конечно, это все же свобода от каменного мешка, спасение от мучительной смерти в темноте и одиночестве - в стремительном падении к подножию пирамид. Но это - возврат в ничто, к звезде Тубан, обратное течение, падение в нуль, в прошлое всего и всех, где ничего и никого нет. Абсолютная свобода и абсолютное спасение - в пустоте и безвременье. Как багровый отблеск заходящего в песчаную метель солнца на конусе пирамиды, соскальзывающий в тьму черного неба. В ничто и безвозвратно.

Невидимое солнце закатилось, и почти сразу же наступила ночь. Ветер загудел еще свирепее. И если бы Лукашевский сделал хоть шаг вперед и перестал держаться за камни, ветер непременно сорвал бы его с выступа. Лукашевский повернулся к ветру спиной и сел. Пирамида Хеопса канула в темноту. Он больше не искал ее. Он ждал, когда там, в долине, примыкающей к плато, зажгутся огни и, может быть, пробьются через песчаную завесу. Он знал, что в долине лежит город, Авеню Пирамид, днем и ночью рычащая от потока автомобилей. Ничего не увидел - ни огней, ни отсветов в небе. Устал смотреть, растер до жжения глаза, спасая их от песка и пыли. Встал, осветил перед собой фонарем, не надеясь, что его луч достигнет пирамиды Хеопса или хотя бы земли у подножия пирамиды Хефрена, на уступе которой он стоял. Луч, словно в раскачиваемую ветром штору, уперся в летучий песок. Надо было возвращаться. Куда? Лукашевский обернулся и осветил через плечо. Увидел в нескольких шагах от себя ступени

каменной лестницы, ведущей вверх и вниз, стену и прислоненную к ней картину "Вид на пирамиду Хеопс из тени пирамиды Хеф". Усмехнулся и подумал, что больше не прикаснется к ней, бросит здесь, ибо все, что в ней есть, уже открылось ему до конца - он прошел сквозь нее к познанию тайны, ее породившей, к разгадке скрытых в пирамидах мольбы и предупреждения.

Спускаясь по лестнице, Лукашевский считал ступени, будто это могло иметь какое-то значение. Он уже видел глухую стену, которой заканчивался спуск, когда сзади кто-то окликнул его. Лукашевский обернулся и осветил вверх. Человек, прикрывая рукою глаза от слепящего света, отчего не удавалось разглядеть его лицо, продолжал спускаться по лестнице и остановился лишь тогда, когда между ним и Лукашевским оставалось две или три ступени. Он попросил убрать фонарь, и лишь теперь Лукашевский узнал его. Это был Режиссер.

"Я с вами, - сказал он Лукашевскому. - Не возражаете?"

"Не возражаю, - ответил Лукашевский. - Вы со мной, но куда?"

"На яхту, надо думать, - повел плечами Режиссер. - Ведь она в гроте?"

Лукашевский услышал вдруг шум плещущейся у камней воды, ощутил ее запах и осветил вниз. Лестница больше не упиралась в глухую стену, от последней ее ступени туннель горизонтально выравнивался и тянулся вглубь скалы.

"Пора, - сказал Режиссер. - Александрина вас заждалась".

"Да, - ответил Лукашевский. - Конечно".

Яхта вышла из грота в сумерках. Режиссер никому не мешал, молча сидел на корме лицом к берегу. Павлушу, который из любопытства спросил его о чем-то, погладил по голове и тихонько оттолкнул от себя, дав понять, что велит ему уйти. Понятливый Павлуша сразу же оставил его в покое, но спросил у Лукашевского, кто этот молчаливый дядя.

"Гость", - ответил Лукашевский.

Ветер был ровный и стойкий. Лукашевский поднял и закрепил парус, выверил курс, показал Александрине, где и какие продукты она может найти для приготовления ужина, и поднялся на палубу. Режиссер по-прежнему был на корме, сидел, подперев обеими руками подбородок.

Лукашевский подошел к нему. Режиссер не мог не слышать его шаги, но не оглянулся и ничего не сказал.

Яхта на волну откликалась мягко - не ухала, как пустая бочка, не скрипела, не дребезжала, не дергалась. Шла с тихим шелестом, словно по опавшей листве. Ветер в зазоре между парусом и палубой не подвывал, не свистел, прокатывался легкими вздохами и завихрялся вверх. Из иллюминаторов каюты на воду, ломаясь и вспыхивая на упругих мускулах волн, падал свет. Темная вершина мачты качалась между звезд. Берег исчез в темноте, хотя был не настолько далеко и свет любого огня мог бы еще достигнуть яхты, не говоря уже о луче маяка. Лукашевский по звездам определил, в какой точке находился теперь маяк, невольно задержал на ней взгляд, ожидая вспышки, с горечью подумал о том, что маяк не провожает его не посылает ему в награду за многолетнюю верную службу прощальный луч...

"Мое присутствие не обременяет вас?" - спросил Режиссер.

Лукашевский не ответил: вопрос был бессмысленным или, как говаривал Яковлев, детским, так как любой ответ на него ровным счетом ничего не менял.

"Вы напрасно так думаете, - сказал Режиссер. - Все в вашей власти..."

"Что именно?" - спросил Лукашевский.

"Все, - повторил Режиссер. - Решительно все, - он встал и повернулся лицом к Лукашевскому. - Ваша власть так велика, что уже ничего не удивляет вас... Где вы были час назад? Разве не у пирамид? Как это могло произойти?"

"Я подозреваю, что по вашей воле", - ответил Лукашевский. "По моей? засмеялся Режиссер. - Какое заблуждение! А я - то, по-вашему, кто?"

"Кто?" - спросил Лукашевский.

"Вот!" - сказал Режиссер, запрокинув лицо и стал смотреть в небо, на звезды. Вздыхнув, глянул через плечо на освещенную изнутри палубную надстройку, усмехнулся печально, перевел взгляд на Лукашевского и спросил: "А почему вы не вышли к реке, к родной деревне, к Застожью? У вас была такая возможность, вы это знали. Вы могли бы повидать отца и мать. Что вас остановило?"

"Мне нечего было бы сказать им, - помолчав, ответил Лукашевский. - Я пришел бы к ним в том возрасте, в каком расстался с ними. Но я ничего тогда не знал ни о жизни, ни о смерти".

"Разумеется, - согласился Режиссер. - Вам нечего было бы сказать. И, значит, вам предстояло бы вновь пройти всю жизнь до нынешнего момента, все повторить... Вы могли бы уйти к Анне и Марии, к жене и дочери. На одной из ступенек туннеля был такой поворот, к ним, поворот в покойгибо вы остались бы с ними, не двигаясь ни в прошлое, ни в будущее, чтобы пощадить их и себя... вы взглянули только на пирамиды и увидели, какой безысходной жутью веет от них... Предупреждение о невозможности возврата, об ужасе возврата... О легкости возврата... О ложности отчаяния перед будущим... Время движется вперед общим усилием воли... Движение вспять - отсутствие разума и воли, падение к подножию пирамид... Мир сотворен волей к гармонии... Из небытия и хаоса... Хаос- откат в небытие... Нельзя получить новое небо взамен на разрушенную и проклятую землю... Ценой бездарной жизни не покупается вечность... Спаситель не вернется к ожидающим его в унынии и страхе... К Спасителю надо идти... Это ты говоришь, Петр Петрович..."

"Я?!" - удивился Лукашевский.

"Ты. Более того, ведь и я - это ты. Я существую только по твоей воле. Не я режиссер, а ты режиссер... Я возникаю и материализуюсь только по твоему зову... Так же, как пирамиды на картине... И все, что случилось, - твоя версия отката маятника... Ты это понял... Ты сам себе это говоришь... Прислушайся..."

Голос поднявшейся на палубу Александрины лишь на две-три секунды отвлек Лукашевского (она сказала: "Мужчины, идите есть, ужин на столе!") Он оглянулся на голос

Александрины, а когда снова повернулся к Режиссеру, того рядом не оказалось.

"Эй! Вы где? - удивился Лукашевский. - Александрина зовет нас", - и вдруг почувствовал, как его обдало внезапным холодом. Мысль о том, что Режиссер исчез, не сразу ясно и отчетливо-словесно прозвучала в его мозгу. Прежде нее он ощутил пугающее отсутствие. И лишь спустя несколько мгновений мысль об этом и замирающее эхо последнего слова Режиссера: "...прислушайся... прислушайся... прислушайся..."

"Ну что же вы там? Идите ужинать!" - повторила свое приглашение Александрина. - Остывает".

"Иди сюда, - позвал ее Лукашевский, овладев собой. - Подойди!"

"На палубе свежо, а я легко одета" - сказала Александрина, но подошла. Удивилась, что Лукашевский один, спросила про гостя.

"Его нет, - ответил Лукашевский, еще не зная, как объяснить, исчезновение Режиссера. - Тут нет ничего странного... Нет, нет, - упредил он ее вопрос, никто за борт не бросался... Дело в том... Ну да ладно! - сказал он, крепко взяв Александрину за руку. - Это такое дело... Ты не сразу поймешь. Но надо идти ужинать", - он подвел ее к трапу, ведущему в каюту, пропустил вперед и уже



опускаясь следом за ней, оглянулся. Он остановился так резко, что Александрина испугалась и спросила:

"Что случилось? Он?"

"Ох, - ответил Лукашевский. - Не верю... Посмотрите, пожалуйста".

Александрина поднялась к нему и тихо засмеялась.

"Да? - спросил Лукашевский. - Это он? Наш маяк? Ты тоже видишь?"

"Конечно, вижу, - ответила Александрина. - Три секунды - пауза, три секунды - свет... так работает только наш маяк. Значит, там кто-то есть! Сам-то маяк светить не будет".

"Не будет", - сказал Лукашевский.

"Мы не так далеко ушли. Надо вернуться и проверить", - предложила Александрина.

"Да! - прижав к себе Александрину, радостно сказал Лукашевский. - Надо вернуться и проверить! Мы ушли совсем недалеко! - засмеялся он. - Это такое счастье! Надо вернуться!"

"Но сначала - хоть по глотку чаю".

"Да! - согласился Лукашевский и еще крепче обнял Александрину. - По глотку чаю - и домой!"

Они спустились в каюту. Александрина засуетилась у стола.

"А где дядя Петя? - спросил Павлуша, глядя на Лукашевского. - Почему не пришел дядя Петя?"

"Да вот же он!" - оглянулась Александрина, но, встретившись глазами с Лукашевским, вдруг обмерла и уронила чашку.

"Вы что? - не понял происходящего Лукашевский. - Что с вами?"

Александрина ткнула пальцем в сторону зеркала. "Посмотрите на себя", прошептала она побелевшими губами.

Лукашевский подошел к зеркалу и с ужасом откачнулся: из зеркала на него смотрел Режиссер.